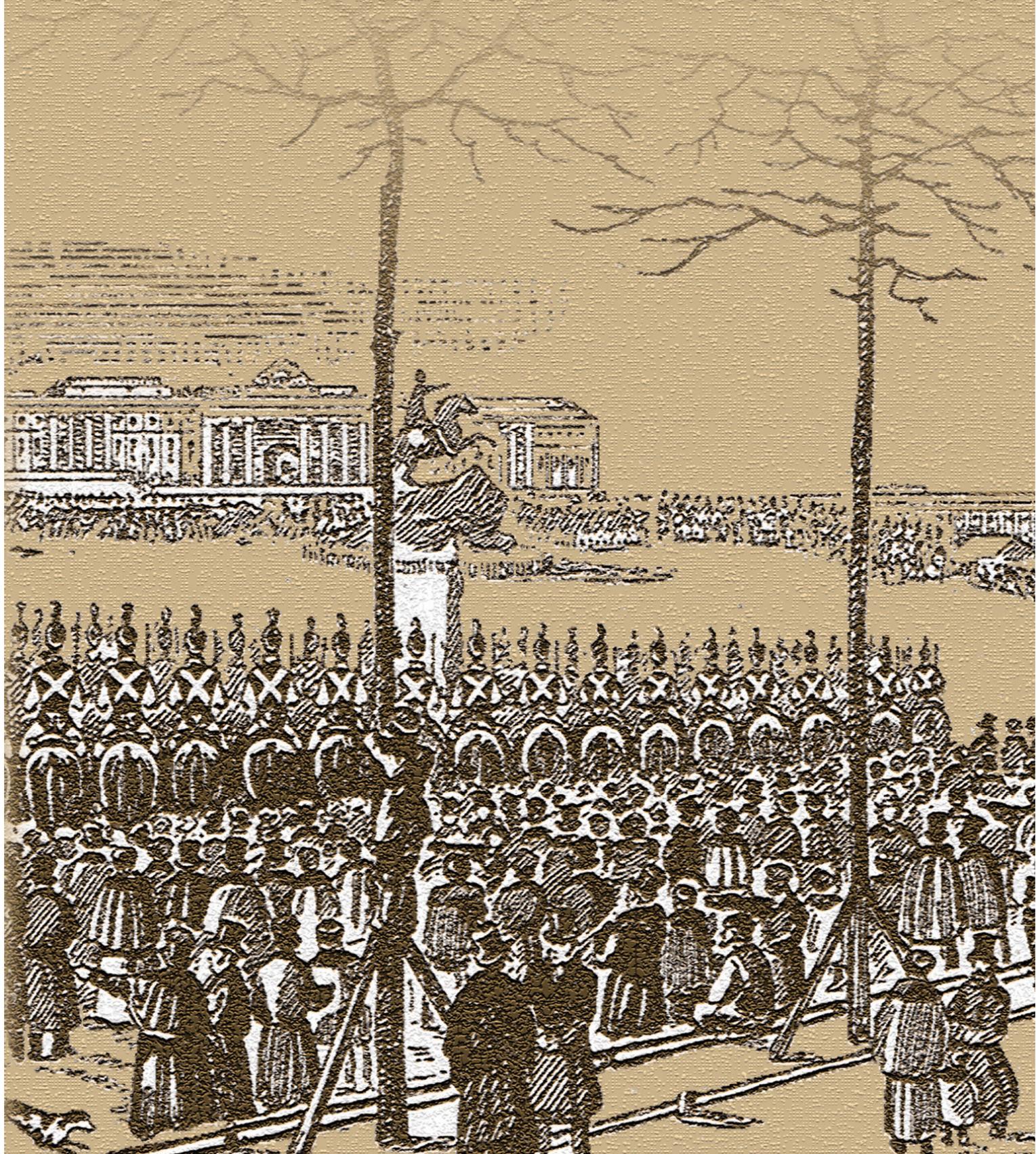


В.С. Парсамов

*Декабристы
и Франция*



Вадим Парсамов
Декабристы и Франция

«РГГУ»

2010

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)47

Парсамов В. С.

Декабристы и Франция / В. С. Парсамов — «РГГУ», 2010

ISBN 978-5-7281-2198-5

В.С. Парсамов, профессор Национального университета «Высшая школа экономики» в своей книге рассматривает идеологические, политические, религиозные и культурно-бытовые аспекты темы «Декабристы и Франция». Он показывает роль французского либерализма в формировании декабристской идеологии, проводит сравнительно-исторический анализ просветительских и либеральных идей во Франции и в России, исследует роль французской политической культуры как посредницы в ознакомлении декабристов с английским государственно-политическим строем. Все проблемы, поставленные в книге, рассматриваются на фоне культурно-политической жизни России и Франции конца XVIII – начала XIX в. Использован обширный документальный материал, многие документы вводятся в научный оборот впервые. Для историков, филологов, культурологов и всех интересующихся проблемами культурного взаимодействия.

УДК 94(47)

ББК 63.3(2)47

ISBN 978-5-7281-2198-5

© Парсамов В. С., 2010

© РГГУ, 2010

Содержание

Введение	6
Глава I	18
Глава II	53
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Вадим Парсамов

Декабристы и Франция

Российский государственный гуманитарный университет

2-е издание, стереотипное

В оформлении обложки использованы фрагмент гравюры Карла Кольмана «Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, 14 декабря 1812 г.» и изображение Декларации прав человека и гражданина 1789 г.

Введение

Воздействие на декабристов как социально-политических, так и общекультурных идей Франции на первый взгляд настолько очевидно, что сама постановка проблемы может показаться излишней. Между тем стремление выделить в общем потоке восприятия текстов французской культуры в России первой четверти XIX в. специфически декабристский регистр наталкивается на ряд трудностей, в том числе и терминологического характера, связанного с понятием «декабристы». Не вдаваясь в длительную и бесплодную полемику о том, кого считать декабристом, следует предупредить некоторые могущие возникнуть недоумения и вопросы. Для данного исследования не имеет значения формальная принадлежность людей, о которых пойдет речь, к тайному обществу (хотя все они в нем состояли), так как аспект влияния французских идей на структуру, организационные принципы и уставы тайных обществ рассматриваться в книге не будет. Это отдельная тема, предполагающая исследование общеевропейского контекста, и вряд ли она может быть решена или даже поставлена в рамках русско-французских отношений. Если же понимать декабризм как поколенческую категорию, характеризующуюся общими или близкими мировоззренческими установками, единой социокультурной средой и т. д., то трудно будет объяснить читателю, чем вызваны приоритеты в выборе персонажей. Охватить все поколение, сформировавшееся в военные или предвоенные годы, несмотря на огромные потери, понесенные в войну, в рамках одной монографии не представляется возможным.

Кроме того, процесс культурной рецепции всегда индивидуален. Можно много говорить о влиянии французской культуры на русское образованное общество начала XIX в. в целом, но как только мы переходим от общих рассуждений к конкретным исследованиям, то сразу сталкиваемся со множеством отдельных случаев, каналов, по которым осуществлялась трансляция культурных текстов. Без их тщательного изучения невозможно представить и понять общую картину. Это вполне очевидное положение находится в противоречии с реальной ситуацией в декабристской историографии. Как будет показано ниже, почти во всех работах, касающихся проблемы «декабристы и Франция», выводы не вытекают из конкретных исследований, а делаются, что называется, на глаз. В итоге создается иллюзия изученности темы, и многие давно устоявшиеся стереотипы не вызывают сомнений лишь потому, что никто не удосужился в них усомниться.

В дальнейшем речь пойдет не о выявлении французских впечатлений в декабризме как целостном идейном течении, а о частных случаях восприятия французских текстов деятелями тайных обществ. Поэтому в центре исследования не абстрактные идеи, а их вполне конкретные носители и реципиенты. Разумеется, объектом анализа стали не произвольно выхваченные из «Алфавита членам бывших злоумышленных тайных обществ..» имена, а наиболее подходящие для данной темы лица. Главных героев книги семеро: Н.И. Тургенев, П.И. Пестель, Н.И. Муравьев, М.С. Лунин, М.Ф. Орлов, А.П. Бярятинский и В. Л. Давыдов. Их можно разделить на две группы. Первые пять – идеологи декабризма, создававшие программные документы или же рефлексирующие по поводу движения после его разгрома. Без каждого из них составить сколь бы то ни было адекватное представление о декабризме невозможно. Двое последних к идеологии прямого отношения не имеют. Авторский интерес к ним вызван главным образом их франкоязычной поэзией, имеющей приватный характер и являющейся частью культурного быта. Таким образом, все исследование с методологической точки зрения делится на две части: в первой исследуются идеологические аспекты декабристской рецепции французской культуры, во второй – ее культурно-бытовая сторона.

Однако для того, чтобы у читателя не создалось иллюзии, что лишь семеро декабристов из нескольких сотен, проходящих по делу 14 декабря, были охвачены французским культур-

ным влиянием, следует хотя бы в общих чертах обрисовать масштаб данного явления. Прежде всего сама тема «Декабристы и Франция» – это не просто один из разделов в теме «Декабристы и Европа» наряду с такими разделами, как «Декабристы и Англия», «Декабристы и Германия» и т. д. И дело не только в том, что влияние Франции на декабристов было несравненно шире и глубже, чем влияние других европейских стран. Само влияние здесь имеет особый характер. Если под ним понимать превращение *чужого* в *свое*, то в случае с Францией картина окажется совершенно иной. Французская культура для многих декабристов не была *чужой*. Французское воспитание и русское происхождение ставило декабристов в ситуацию между двумя мирами, когда понятия *свое* и *чужое* сложно переплетались и нередко переходили друг в друга. Психологически они нередко ощущали себя *чужими* в родной среде. «Каким черным волшебством, – писал А.С. Грибоедов, – сделались мы чужие между своими!»¹ «Черное волшебство» – это петровские реформы. Начатая царем-преобразователем европеизация России за сто лет зашла настолько далеко, что французский язык, который, кстати сказать, при самом Петре в ходу не был, оказался одним из языков русской культуры, следствием чего стало осознание *чужой* (в данном случае французской) культуры как *своей*.

Первые впечатления детства у многих декабристов связаны так или иначе с Францией. Это были не только чтение французских книг и разговоры по-французски с гувернерами, но и ощущение собственной причастности к тому, что происходило во Франции. По словам М.Ф. Орлова, его «первое политическое впечатление – падение Робеспьера»². М.И. Муравьев-Апостол описывал свое детство, проведенное в среде французских эмигрантов в Гамбурге: «Пятилетний мальчик <...> был ярый роялист. Эмигранты своими рассказами о бедствиях, претерпленных королем, королевой, королевским семейством и прочими страдальцами, жертвами кровожадных террористов, его сильно смущали. Отец его садится, бывало, за фортепьяно и заиграет “la Marseillaise”, а мальчик затопает ногами, расплачется, бежит вон из комнаты, чтоб не слушать ненавистные звуки, которые сопровождали к смерти жертв революции. Начальствующий французскими войсками в Голландии Дюмурье бежал и прибыл в Гамбург. Батюшке поручено было от нашего правительства не принимать его официальным образом в Россию, но дать уразуметь, что у нас его ждет благосклонная встреча. Чтобы успешно исполнить это поручение, батюшка угощал обедами генерала. Во время званных обедов нас – детей – приводили в гостиную, и гости вставали из-за стола. Дюмурье хотел взять за руки мальчика, чтоб его приласкать. Мальчик отскочил с негодованием и сказал: “Je déteste, monsieur, un homme qui traître envers son roi et sa patrie!”³ Можно себе представить неловкое положение дипломата при неожиданной выходке сына своего»⁴.

Детство пятилетнего русского мальчика, будущего декабриста, проходит под звуки «Марсельезы» и рассказы эмигрантов о революционном терроре. При этом ни сам М.И. Муравьев-Апостол, ни его младший брат С.И. Муравьев-Апостол, будущий организатор восстания Черниговского полка, еще не говорят по-русски и даже не знают, что такое крепостное право. Вероятно для того, чтобы детям было понятнее, кто такие крепостные крестьяне, их мать А.С. Муравьева-Апостол при возвращении на родину скажет: «В России вы найдете рабов»⁵.

Таким образом, в детском сознании выстраивается ряд, который в дальнейшем будет сложно переплетаться в сознании декабриста и порождать различные комбинации: Франция – революция – террор – роялисты – крепостное право – Россия. На входе – Франция, на выходе – Россия.

«Французская революция, – писал декабрист А.Е. Розен, – выгнала к нам тысячи выходцев, между ними людей весьма образованных из высших классов, но также много умных аббатов и всяких учителей. Первые из них имели влияние на высший круг нашего общества по образованию и по тонкости в общежитии; вторые – по религии и вкрадчивости в дела семей-

ные; последние попеременно с аббатами заняли места воспитателей и сами, убежав от революции, посеяли в русском дворянском юношестве первые семена революции»⁶.

Розен замечает на первый взгляд парадоксальную вещь: французские эмигранты, среди которых иезуиты – самые непримиримые враги Французской революции, сеют в России революционные идеи. Но в данном случае декабрист очень точен. Достаточно вспомнить, сколько будущих декабристов⁷ прошли через иезуитские учебные заведения или воспитывались дома аббатами, для того чтобы всерьез задуматься над этой проблемой⁸.

Кризис просветительской мысли в Европе привел не только к либерализации, но и к христианизации общественной мысли. Если либералы пытались переосмыслить радикально-демократические идеи просветителей, то католические мыслители их безоговорочно отрицали. Произведениями Жозефа де Местра, Ф.Р. Шатобриана, Л. Бональда и других католическая Церковь как бы брала реванш за те удары, которые по ней наносили в XVIII в. просветители, а позже французские революционеры. Если католическая Церковь стояла во главе европейской контрреволюции⁹, то иезуиты, при всей шаткости их официального положения, фактически возглавляли католическую реакцию в Европе.

В России идеи Просвещения ассоциировались с европеизмом как таковым и далеко не всегда получали революционное звучание. Между тем общеевропейский кризис просветительской мысли затронул и Россию. С одной стороны, он проявился в выступлении «старших архивистов»¹⁰, а с другой – в попытках обрести новые европейские ориентиры. Относительный успех А.С. Шишкова и его последователей в 1800-е гг. отчасти объясняется образовавшимся «вакуумом» европеизма в русской культуре, который быстро заполнялся иезуитами, допущенными Павлом I в столицы и создавшими в России целую сеть учебных заведений¹¹. Вместе с тем иезуиты были сильно ограничены в проповедях собственно католических идей. Обращение православных дворян в католицизм хотя и имело место, однако не только не поощрялось, но даже преследовалось правительством. Особенно строго за этим следили в учебных заведениях¹². Поэтому отцы-иезуиты вынуждены были делать вид, что ограничиваются лишь общеобразовательными предметами. Легально преподавать католицизм они не могли, а православных священников допускали в свои учебные заведения крайне неохотно. В результате образование, получаемое их учениками, носило подчеркнуто светский европейский характер, и многие выпускники, как, например, будущие декабристы В.Л. Давыдов или А.П. Барятинский, в религиозном отношении отличались вольнодумием. Таким образом закладывалась основа для восприятия европейских либеральных идей.

Иезуиты, как и французские эмигранты, бежавшие в Россию от революции, вместе с проклятиями в адрес революционной Франции несли с собой классическую французскую культуру. Не энциклопедисты, а французские классики XVII в., как правило, составляли основу литературных курсов в их учебных заведениях. С произведениями Вольтера, Руссо, Дидро и других будущие декабристы знакомились в библиотеках своих отцов – вольнодумцев екатерининской поры. Все это вместе составляло прочный культурный фундамент и воспринималось не как *чужое*, а как *свое*, а негативное отношение к Французской революции не только не затрагивало сферу культурного фундамента, но, напротив, оборачивалось представлением о том, что современные французы ниже собственной культуры и не могут правильно пользоваться ее плодами. Н.И. Тургенев в 1812 г. считал, что Французская революция произошла «от искаженной образованности, от ложного просвещения», и призывал всех «вооружиться против, так сказать, *переродившегося* народа французского (курсив мой. – В. П.)»¹³.

Та боль за Францию, которую французские эмигранты несли в Россию, передавалась их воспитанникам и становилась неотъемлемой частью русской франкоязычной культуры. А.И.

Герцен имел полное право сказать: «Мы так же пережили Руссо и Робеспьера, как французы»¹⁴.

Отголоски этой боли, несомненно, звучат и в той патриотической ненависти, которую будущие декабристы испытывали к французам во время Отечественной войны 1812 года¹⁵, и в том, как быстро произошло примирение с поверженной Францией в 1814–1815 гг.

Представители русского патриотизма 1812 г. нередко говорили по-французски. Одним из ярчайших свидетельств этого является французский дневник молодого русского офицера А.В. Чичерина, погибшего в Кульмском сражении. Дневник этот ценен во многих отношениях¹⁶. Для историка декабризма он просто уникален, так как в нем содержится не ретроспективный, а современный взгляд на начало кристаллизации тех идей, которые в дальнейшем составят декабристскую идеологию. Известные слова М.И. Муравьева-Апостола: «Мы были дети двенадцатого года» – в сопоставлении с дневником Чичерина приобретают особый смысл. М.И. Муравьев-Апостол вместе со своим братом С.И. Муравьевым-Апостолом, а также С.П. Трубецким, М.Ф. Орловым и И.Д. Якушкиным составляли ближайшее окружение Чичерина. Благодаря его дневнику мы можем слышать то, о чем они говорят в своем кругу.

Чичерин признается: «Я всегда очень любил споры. Не те, что возникают по пустякам, вызывая ссоры и досаду, но посвященные философским вопросам и способствующие размышлениям»¹⁷. Одним из его оппонентов является И.Д. Якушкин. Молодые люди читают Руссо и обсуждают, должен ли человек жить в обществе или «следует удалиться от света», как считает Якушкин. Чичерин же, настроенный на высокое служение обществу, дает любопытную характеристику своему оппоненту: «Дело в том, что он молод¹⁸, но слишком рассудителен для своего возраста и настолько сумел освободить свой дух от всех принятых в обществе предрассудков, что теперь получил большую склонность к мизантропии¹⁹, а сие может сделать его совершенно бесполезным государству человеком»²⁰. Опровергая Якушкина, Чичерин ссылается на общественный договор: «Если же вы говорите не о свете, но о человеческом обществе, об общественном договоре, то уже тем самым вы признаете, что человек рожден, дабы жить среди себе подобных. Ведь об этом свидетельствует его естественная склонность учиться у других, пользоваться их помощью; а когда это ему уже не будет нужно, не должен ли он сам стараться быть полезным тем, кому может?»

Якушкин не сдаётся и утверждает, что может «найти счастье только в деревне, делая людей (т. е. крепостных. – В. П.) счастливыми». На это Чичерин находит контраргумент: «А разве другие поприща, которые перед нами открываются, ничего нам не обещают?.. Ведь каждая ступень, на которую поднимаешься, позволяет дать счастье еще одному разряду людей, каждый шаг вперед делает нас более полезными всей земле и помогает заслужить всеобщее благословение». И тут же, как бы испугавшись собственного честолюбия²¹, Чичерин делает важную оговорку: «Конечно, всякое величие – вещь пустая. Разумный человек, о котором вы все время твердите, не может считать разумной власть, подчинившую его государю, такому же человеку, как он сам, или генералу – тысяче разных начальников, которые выше его чином, но равны ему по человеческому праву»²².

Конечно, мысли молодых людей прикованы к России: «Любовь к отечеству должна заставить меня все позабыть»²³. Но сам уровень понимания проблем своей Родины определяется у Чичерина французским воспитанием. «Воспитателем его был Малерб – довольно известный в Москве преподаватель. Он обучал и декабриста М. Лунина – и Лунин впоследствии назвал Малерба в числе людей, наиболее сильно на него повлиявших.»²⁴ Чичерин же не только считал Малерба своим другом, но и упоминал его в качестве доказательства «того, что чужестранец может заменить родителя»²⁵.

Соотношение России и Европы в сознании девятнадцатилетнего образованного юноши строится на широко распространенной в ту эпоху антитезе *варварство – цивилизация*. Во время нашествия Наполеона эта антитеза оказалась перевернутой, и русская пропаганда стала называть *варварами* французов. Однако Россия при этом ассоциировалась не с цивилизацией, а с православием. Противопоставление *варварство – православие* придавало этой перевернутой антитезе сильный эмоциональный накал («Я дрожал, – пишет Чичерин, – при мысли о священных алтарях Кремля, оскверняемых руками варваров»), но в то же время довольно плохо объясняло окружающую реальность.

Чичерин, пожалуй, впервые во время военных переходов увидел крепостную Россию во всем ее неприглядном виде: «Идеи свободы, распространившиеся по всей стране, всеобщая нищета, полное разорение одних, честолюбие других, позорное положение, до которого дошли помещики, унижительное зрелище, которое они представляют своим крестьянам, – разве не может все это привести к тревогам и беспорядкам?..» Размышления о возможном будущем этой страны невольно порождали в сознании юного офицера неожиданные ассоциации: «Однако небо справедливо: оно ниспосылает заслуженные кары, и может быть революции столь же необходимы в жизни империй, как нравственные потрясения в жизни человека..»²⁶

Под «революциями» понимается, конечно, Французская революция – других Чичерин просто не знал. И здесь нельзя не заметить, что мысль Чичерина опережает и его возраст, и его эпоху. Параллель с Францией свидетельствует о том, что он видел если не социальные, то во всяком случае материальные причины революции. Даже Н.И. Тургенев в 1812 г., как уже отмечалось выше, объяснял Французскую революцию сугубо моральными причинами, в частности «природным непостоянством французского народа»²⁷. Характерно и то, что Чичерин не желает своей Родине того, что произошло во Франции: «Но да избавит нас небо от беспорядков и от восстаний, да поддержит оно божественным вдохновением государя, который неустанно стремится к благу, все понимает и предвидит и до сих пор не отделял своего счастья от счастья народов»²⁸. Верноподданнические чувства Чичерина, притом что они являются выражением почти всеобщего мнения той эпохи, имеют вполне определенные границы. Государь только тогда имеет право на проявление к нему подобных чувств, пока он выражает интересы народа.

Заграничные походы раскрыли перед молодыми офицерами совершенно новый мир. Их патриотизм не утратил своей силы, но понятия *варварство* и *цивилизация* опять вернулись на свои места. 23 марта 1813 г. Чичерин писал в дневнике: «Мы видим здесь повсюду успехи *цивилизации* (курсив мой. – В. П.), они сказываются во всем: в обработке земель, в устройстве жилищ, в нравах, и все-таки я никогда, ни на минуту не захотел бы поселиться под иным небом, в иной стране, чем та, где я родился и где почилы мои предки. Разве возможно отказаться от того, что привязывает меня к жизни, от родных и друзей, от тех мест, которые я не могу видеть без сердечного волнения, от нашей *варварской* (курсив мой – В. П.) непросвещенности, от русских бород, никогда не слышать языка, которому учила меня мать... нет, эта жертва слишком велика. Ничто ее не оправдает»²⁹.

Молодого человека мучает ностальгия, и «дым отечества» ему сладок и приятен. Но осознание непросвещенности своей страны неизбежно должно было привести Чичерина к усвоению новых европейских идей и к мыслям об их преломлении в русских условиях. В августе 1813 г. Чичерин погиб и не успел пройти ту политическую эволюцию, которая произошла со многими из его боевых друзей. Но его дневник содержит в себе сведения, без которых невозможно понять характера интереса будущих декабристов к французской общественно-политической мысли.

Если в Наполеоне раньше видели только прямое порождение Французской революции и победа над ним как бы сама собой означала прекращение этой революции и возвращение к старому режиму³⁰, то потом все оказалось гораздо сложнее. На следствии П.И. Пестель пока-

зывает: «Возвращение Бурбонского Дома на французский престол и соображения мои впоследствии о сем происшествии могу я назвать эпохою в моих политических мнениях, понятиях и образе мыслей; ибо начал рассуждать, что большая часть коренных постановлений, введенных революцией, были при реставрации монархии сохранены и за благие вещи признаны, между тем как все восставали против революции и я сам всегда против нее восставал»³¹.

Пестель, как всегда, высказывается очень определенно. Реставрация действительно подействовала «революционно» на русскую молодежь. Пожалуй, самым удивительным было сочетание старой монархии и новой политической реальности. Н.И. Тургенев записал в дневнике 25 февраля 1815 г.: «Александр утвердил <...> свободу Франции <...> прежде <...> нежели он возвратил ей Бурбонов. Сии вступили вследствие сего на французскую землю, уже очищенные от всех желаний и позывов деспотизма, бывшего, так сказать, наследственным достоянием их праотцев». В то же время Тургенев на причины революции смотрит совершенно иначе, чем в 1812 г.: «Народ может взбунтоваться не от брошюр, а от долговременного угнетения, которое он чувствует сильнее, нежели доводы писателей»³².

Таким образом, в 1814–1815 гг. в центре внимания мыслящей части русской молодежи находятся два круга вопросов: почему возвращение Бурбонов не привело к возвращению старого режима и чем французский опыт может быть полезен России?

Пока Вестрис и мадам Гардоль плясали в Grand Opéra «комаринского», Н.И. Тургенев, наблюдая жизнь русского офицерства в Париже, писал: «Теперь французы в восхищении от наших офицеров. Теперь возвратится в Россию много таких русских, кот[орые] видели, что без рабства может существовать гражданский порядок и могут процветать царства. Что можно сделать умными распоряжениями и постановлениями!»³³

Было бы крайне упрощенным полагать, что речь идет лишь о заимствовании некоторых новых идей. На глазах менялась вся система европейского мышления. «Настоящий переворот в Европе, – писал Тургенев, – переменял весьма, весьма многое. Многие даже книги, в коих рассуждения были справедливы, сделались теперь негодными или ложными. Многие истины политические, даже финансовые, были истинами до 1812 года, сим переворотом опровергнуты. Даже многие аксиомы, основанные на истории, ничего теперь не доказывают. Какой конец увенчает теперь такие важные происшествия!

В течение сих двух годов сделано столь много хорошего и истреблено столь много дурного, что совершенно неудачной развязки даже и ожидать нельзя»³⁴. Тургенев пишет о Европе, а думает о России. В его представлении Россия должна вместе с Европой шагнуть в этот мир новых идей и новой политической реальности.

Точно так же думали и многие из будущих декабристов. М.С. Лунин, по словам И. Оже, «был в Париже в 1814 году и воспользовался этим, чтобы изучить социальное положение или, лучше сказать, организацию Франции, сравнительно с Россией. В то время как другие наслаждались парижскою жизнью, он изучал ее, стараясь все понять и отдать себе отчет в том, что зовется цивилизацией. Внимание его равно привлекали как лица, стоявшие во главе правления, так и низшие управляемые народы»³⁵.

Мир зарождающихся либеральных идей для будущих декабристов был новым, но не был чужим. А.А. Бестужев, по его словам, «пристрастился к чтению публицистов, французских и английских, до того, что речи в палате депутатов и house of commons занимали <его> как француза или англичанина» (I, 430).

Для декабристов либеральные идеи были неотделимы от порождающей их либеральной среды. Во Франции либерализм был порожден поиском третьего пути между революцией и абсолютизмом. Французские либералы стремились в новых условиях установить то равновесие между монархией и потребностями нации, которое не удалось сохранить в 1792 г. Тогда это оказалось невозможным в силу целого ряда причин, проанализированных Мадам де Сталь в ее

знаменитой книге о Французской революции³⁶. Теперь ситуация стала принципиально иной. Империя покончила и с абсолютизмом, и с якобинцами. Третье сословие, как этого требовал в 1789 г. аббат Сийес, из *ничего* превратившись в *нечто*, сделалось прочной основой формирования среднего слоя, консолидирующего нацию. На этой почве нетрудно было выработать идеологию нового гражданского общества, основанного на соблюдении прав отдельного человека.

В России же все было наоборот: не среда должна была породить либеральные идеи, а идеи должны были создать соответствующую среду. Именно этому были посвящены первые годы декабристского движения. Но еще до того, как был образован Союз благоденствия, Н.И. Тургенев обратил внимание на странность подобного рода трансформации. В письме к брату С.И. Тургеневу от 1 февраля 1817 г. он писал: «Я давно уже заметил, что Россия идет к просвещению совсем не тем путем, каким достигли до него другие народы. У нас все как-то навыворот. Я помню, что в пансионе рисовальщик Катрин начинал всегда картины рамками, после коих принимался уж за самую картину: вот ход всего в России»³⁷. Предложенный Тургеневым образ очень точен. В рамки европейской, прежде всего французской, общественно-политической мысли декабристы пытались вписать картину русской жизни. О том, как это происходило и какие имело последствия, и пойдет речь в настоящей работе.

* * *

Тема «Декабристы и Франция» разработана на уровне общих положений и высказываний декабристов о тех или иных французских писателях, философах, публицистах и их сочинениях.

Первый систематический свод данных о влиянии на декабристов французской общественно-политической мысли и Хартии периода Реставрации приведен в классической книге В.И. Семевского³⁸. При этом автор не ставит перед собой задачи не только охарактеризовать это влияние и указать его причины, но даже не выделяет его на фоне других европейских источников декабристской идеологии.

Феномен быстрого усвоения декабристами новейших идей как Франции, так и Западной Европы в целом М.О. Гершензон объяснял общекультурными процессами, берущими начало еще в петровской европеизации России. По его мнению, «здесь была далекая подготовка Петровских, Елизаветинских, Екатерининских времен. Как холст грунтуется для принятия красок, так известная часть дворянской молодежи ко времени заграничных походов 1813–1815 годов была психически загрунтована для принятия западных идей и манер»³⁹.

Наиболее обстоятельно вопрос о влиянии французских либералов на декабристов был исследован А.Н. Шебуниным в его неопубликованной монографии «Декабристы» (1925 г.)⁴⁰. Шебунин исходит из совершенно правильного тезиса: «Среди различных политических влияний, шедших из Западной Европы, наиболее сильное шло по-прежнему из Франции. Русские передовые люди этой поры уже не ограничивались мыслителями XVIII века, они испытывали на себе воздействие либеральной публицистики эпохи Реставрации»⁴¹.

В движении декабристов Шебунин выделяет три течения: «1) сословно-дворянское, выраженное в “Ордене Русских Рыцарей, взглядах Г.С. Батенькова, А.А. Бестужева и др.; 2) либеральное, представленное Н.И. Тургеневым, Н.М. Муравьевым, кн. С.П. Трубецким, И.Д. Якушкиным и др. и 3) демократически-якобинское, выразителем которого был Пестель»⁴². Все эти три течения Шебунин связывает с влиянием трех представителей французского либерализма соответственно: 1) Мадам де Сталь, 2) Бенжамена Констана и 3) А.-К.-Л. Детью де Траси.

При всей внешней стройности такой концепции нельзя не отметить ее схематичности. Не совсем понятно, на чем основывается Шебунин, полагая, что Констан влиял на Н.И. Тургенева сильнее, чем де Сталь, а Детю де Траси больше повлиял на Пестеля, чем на Н.М. Муравьева и т. д. Тем не менее в изучение проблемы «декабристы и французский либерализм»

А.Н. Шебунин внес наибольший вклад. Им впервые в декабристской идеологии был выявлен пласт идей, восходящих к либеральной публицистике эпохи Реставрации. К сожалению, в силу того что монография Шебунина не была опубликована, его идеи не получили дальнейшего историографического развития, и позднейшие декабристологи, касавшиеся этого сюжета, брали за точку отсчета главным образом книгу В.И. Семевского.

В 1920-1930-е годы декабристологи занимались в основном либо исследованием частных аспектов движения, либо монографическим изучением деятельности отдельных декабристов. Е.И. Тарасов в монографии о Н.И. Тургеневе лишь попутно касается вопроса о французских истоках его мировоззрения. Им довольно подробно характеризуется круг чтения молодого Тургенева, где особенно выделяется влияние Вольтера⁴³. Однако в дальнейшем автор практически не затрагивает вопроса о восприятии Тургеневым идей французских либералов, выводом либерализм декабриста из общей картины распространения либеральных идей в Европе и России.

Более четко влияние французской либеральной публицистики на Тургенева прослеживается в небольшой книге А.Н. Шебунина «Николай Иванович Тургенев», представляющей собой сжатый очерк жизни и деятельности декабриста.

Небольшой объем и популярная форма изложения не дали возможности подробно остановиться на влиянии, которое оказали на Тургенева Делольм, Б. Констан и Мадам де Сталь⁴⁴.

Н.М. Дружинин в монографии «Декабрист Никита Муравьев» (1933) отмечает «влияние публицистов периода Реставрации – Бенжамена Констан, Ланжюинэ и Детю де Траси» на Муравьева⁴⁵. Однако исследователь ограничивается лишь указанием на то, что декабрист был знаком с их произведениями, а также общими словами о влиянии на Муравьева идей французского либерализма.

В 1939 г. на страницах 34/35-го тома «Литературного наследия» впервые была опубликована работа Ю.Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера». Ю.Н. Тынянов ввел в научный оборот хранящееся в его рукописной коллекции «Путешествие» Кюхельбекера по Европе, где много говорится о пребывании декабриста во Франции. На основании целого ряда дополнительных источников, как русских, так и французских, исследователь воссоздал детальную картину того окружения, в котором Кюхельбекер находился во Франции. Среди его парижских знакомых были такие видные деятели французской литературы и либерализма, как Бенжамен Констан, В.-Ж.-Э. Жуй и М.-А. Жюльен. Особое внимание было уделено характеристике научно-литературного общества «Aténée Royal», где французские либералы выступали с лекциями. Там же весной 1821 г. Кюхельбекер читал лекции по русской литературе и русскому языку⁴⁶. Одна из этих лекций сохранилась в бумагах А.И. Тургенева и была опубликована П.С. Бейсовым в 59-м томе «Литературного наследия» со вступительной статьей Б.В. Томашевского⁴⁷.

В появившейся в 1955 г. двухтомной монографии М.В. Нечкиной «Движение декабристов» интересующий нас вопрос практически так и не был сдвинут с той точки, которую поставил еще В.И. Семевский. М.В. Нечкина лишь осудила две крайние, по ее мнению, тенденции в декабристской историографии. «Было бы неправильно, – пишет исследовательница, имея в виду западноевропейскую общественно-политическую мысль, – преувеличивать значение этих идейных воздействий, чем в невероятной степени отличалась дворянско-буржуазная литература о декабристах, вообще подменявшая “западными влияниями” всю проблему генезиса декабризма и в силу своих идеалистических в методологическом отношении и космополити-

ческих по политическому существу установок не видевшая более никаких “истоков” движения декабристов. Однако наметившееся в последнее время в литературе стремление принизить, затушевать, а то и вовсе замолчать эту сторону дела надо признать глубоко неправильной тенденцией»⁴⁸.

Это положение, в общем не вызывающее сомнения, к сожалению, осталось лишь на уровне декларации, не подкрепленной конкретными наблюдениями. Действительно, сложный вопрос соотношения *своего* и *чужого* в идеологии декабризма не только не получил никакого решения, но даже не был поставлен в более или менее корректной форме.

Несколько больше внимания влиянию идей французских либералов на декабристов уделено в книге С.С. Волка «Исторические взгляды декабристов». Однако и здесь это влияние не выделяется из общего потока европейских идей, участвовавших в формировании декабристской идеологии. Автор фактически продолжает начатую В.И. Семевским «коллекцию» цитат из декабристских текстов⁴⁹.

Близка к интересующей нас проблеме, хотя и не касается ее непосредственно, книга Б.В. Томашевского «Пушкин и Франция», вышедшая уже после смерти автора и вобравшая в себя работы, написанные на протяжении 1930 – 1950-х годов. Характеризуя круг чтения молодого Пушкина, Томашевский писал: «Одним из первых впечатлений Пушкина в петербургский период 1817–1819 гг. было ознакомление с произведениями передовых французских либералов. В это время только что появилась книга де Сталь “Взгляд на Французскую революцию” (“Consideration sur la Révolution Française”⁵⁰). Эта книга произвела огромное впечатление на русских либералов, в частности на Тургеневых, которые играли большую роль в деле формирования политических убеждений Пушкина»⁵¹. Идеинная эволюция Пушкина в 1817–1820 гг. не только шла в русле декабристских идей, но и во многом стимулировала развитие этих идей⁵². Поэтому, касаясь общемировоззренческих вопросов пушкинского творчества, Томашевский большое внимание уделяет той культурно-политической среде, в которой идеи декабристов пересекались с идеями французских либералов.

Относительная либерализация советского общества на рубеже пятидесятых – шестидесятых годов способствовала тому, что нечкинская концепция декабристов как последовательных революционеров оставалась хоть и господствующей, но перестала быть единственно возможной. Снова появился интерес к либеральной стороне движения. Дворянский либерализм начала XIX в. и декабризм как его составная часть стали предметом исследований таких ученых, как С.С. Ланда, Ю.М. Лотман, В.В. Пугачев и др. Естественно, что исследователи не могли пройти мимо аспекта соотношения французского либерализма и декабристской идеологии и, даже не ставя эту проблему в центр своих исследований, вынуждены были так или иначе ее затрагивать. Все они исходили из верного по сути представления об отражении в политических спорах декабристов либеральных доктрин эпохи Реставрации.

В отличие от предшествующих историков, писавших о европейских влияниях на декабристов, за исключением Шебунина, Ланда, Лотман и Пугачев не только выделяют французскую линию как наиболее сильно влиявшую на русских либералов, но и в самой этой линии противопоставляют просветительские и либеральные идеи, подчеркивая при этом, что декабристам ближе были последние. Однако если Лотман шел от идей Просвещения, в первую очередь идей Руссо, то Ланда и Пугачев основное внимание уделяли влиянию на декабристов французских либералов. Выводы исследователей при этом совпадали. «На фоне практических рекомендаций Бенжамена Констан, – писал Ю.М. Лотман, имея в виду декабристов, – пафос Руссо воспринимался как высокопарные мечтания, годные для юношей, но не для политиков»⁵³.

В.В. Пугачев вслед за Ю.Г. Оксманом выделял в декабризме два этапа: ранний, либеральный, и поздний, революционный. На раннем этапе декабристская идеология еще довольно нечетко проявляется на фоне дворянско-буржуазного либерализма, сформировавшегося в Рос-

сии после наполеоновских войн. Еще отсутствует принципиальное различие во взглядах декабристов, братьев Тургеневых, П.А. Вяземского, Д.В. Давыдова и др. Для всех них характерно влияние французского либерализма, в первую очередь идей Бенжамена Констан и Мадам де Сталь. «В то же время, – пишет В.В. Пугачев, – все представители буржуазно-дворянского либерализма были противниками и неограниченного суверенитета нации. В отличие от Руссо они считали, что закон превыше всего, даже выше воли нации. Наиболее четко эта мысль выражена в оде Пушкина “Вольность”»⁵⁴.

С.С. Ланда, анализируя петербургскую дискуссию декабристов 1820 г. о формах правления, писал: «Мы легко различаем ее либеральные контуры в определении политической системы власти»⁵⁵. Перед тем как сделать такой вывод, исследователь подробно остановился на отношении французских либералов к различным формам правления и на отличии их политической доктрины от радикально-демократических взглядов Руссо⁵⁶.

Л.И. Вольперт в статье «А.С. Пушкин и госпожа де Сталь» касается вопроса о влиянии на декабристов книги де Сталь «Рассуждения о главных событиях Французской революции». В этом отношении она продолжает исследования Б.В. Томашевского, в которых проблема была лишь намечена. Как показала Вольперт, интерес Пушкина к этой книге де Сталь во многом был обусловлен тем, что по выходе из лицея молодой поэт находился под идейным влиянием Н.И. Тургенева, который «в страстной книге де Сталь видел источник вдохновения и энергии»⁵⁷.

Русско-французским революционным связям начала XIX в. посвящены работы О.В. Орлик⁵⁸. Значительное место в них уделено декабристам. Исследовательница подробно останавливается на пребывании декабристов во Франции, на их знакомстве с произведениями французских политических мыслителей XVIII – начала XIX в. Следуя в целом нечкинской концепции революционности движения декабристов, Орлик, как представляется, неточно расставляет акценты в стремлении доказать преобладающее влияние на декабристов радикально-демократических идей Франции. При этом общая эволюция политических идей как во Франции, так и в России представляется заметно упрощенной. О.В. Орлик по сути оперирует всего лишь двумя понятиями: «конституционная монархия» и «республика», полагая, что в процессе эволюции одно сменяет другое. «Изучение декабристами политических теорий и политического строя современного им Запада, – пишет исследовательница, – также способствовало эволюции их взглядов от конституционно-монархических в сторону республиканских»⁵⁹. Не говоря уже о том, что это в принципе неверно (взгляды Н.М. Муравьева, например, эволюционировали в обратном направлении, и это не было исключением), сами понятия «республика» и «монархия» были настолько сложны и запутанны во французской политической мысли тех лет, что необходимо в каждом конкретном случае пояснять, о чем идет речь. Вывод, к которому приходит О.В. Орлик, мало чем отличается от приведенной выше цитаты из М.В. Нечкиной: «Передовые идеи Франции, привлекавшие в тот период особое внимание русской общественности, нашли отражение в идеологии декабристов и их единомышленников, они способствовали формированию оригинальной, взращенной на русской почве декабристской идеологии»⁶⁰.

Двухсотлетие Французской революции, отмечавшееся в 1989 г., актуализировало тему «Декабристы и Франция»⁶¹. Достаточно много внимания ей уделено в книге Н.Я. Эйдельмана «Мгновенье славы настает...». Однако Эйдельман берет в основном историко-биографический срез, показывая, как Французская революция отражалась в судьбах нескольких поколений русских людей, в том числе и декабристов. Декабризм Эйдельман выводит из общего либерального духа, распространенного по Европе Великой французской революцией, а декабристов трактует как русских революционеров с учетом того, что «язык 1789-1794-го очень вольно, совершенно

по-особому переводится в русскую речь 1812–1825 годов»⁶². При этом проблема французского либерализма в узком смысле исследователем даже не затрагивается.

Несколько странное впечатление производит статья А.В. Семеновой «Д. Дидро и декабристы»⁶³. Самое примечательное в ней, пожалуй, то, что автор ни разу не сослалась ни на одно произведение Дидро. Вся статья строится лишь на подборе цитат, в которых говорится об интересе декабристов к «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. Заметим, что и до появления статьи Семеновой этот интерес не представлял особого секрета.

Еще одно юбилейное издание представляет собой любопытный опыт перевода отрывков из декабристских источников на французский язык. Речь идет о книге Э.А. Павлюченко «Сыновья Вольтера в России»⁶⁴. О движении декабристов в этой книге рассказывают сами декабристы. Автор удачно расположил источники согласно хронологии описываемых в них событий. При этом центральное место отведено рассуждениям декабристов о Франции. Несмотря на отрывочный характер приводимых документов, Павлюченко трудно упрекнуть в тенденциозном подборе источников. В своей совокупности они свидетельствуют о той исключительной роли, какую французская культура сыграла в судьбе поколения, к которому принадлежали декабристы.

В монографии В.А. Федорова «Декабристы и их время» (1992) одна из глав посвящена «формированию общественно-политических воззрений декабристов». Автор исходит из совершенно бесспорного тезиса: «Наибольшее влияние на декабристов оказала передовая Франция. Французская политическая мысль XVIII – начала XIX в. была наиболее разработанной и самой передовой в Европе»⁶⁵. Однако дальше этой старинной декларации автор не идет. Он не только не показывает, как различные течения во французской политической мысли преломлялись в идеологии декабризма, но даже не выделяет французское влияние на фоне общеевропейского⁶⁶.

В зарубежном декабристоведении тема «Декабристы и Франция», как правило, не выделяется в качестве отдельной научной проблемы. Французские исследователи ее затрагивают либо в общих обзорах русско-французских отношений соответствующего периода, либо рассматривают в связи с влиянием на декабристов общеевропейских идей.

В появившейся через год после монографии В.И. Семевского книге французского исследователя Э. Омана «Французская культура в России», также ставшей классической, довольно много места уделено декабристам. Оман смотрит на декабристское восприятие Франции не только с общественно-политической, но и с общекультурной точки зрения. «Несомненно, – пишет историк, – что декабристы хотели “трансформировать Францию в Россию”, где ничто не было готово для подобной трансформации. Впрочем, они это знали, но, как революционеры всех времен, они полагались на чудо, временное правительство, которое, по мнению Пестеля, должно предшествовать установлению Конституции, это так называемый *deus ex machina*, который по мановению палочки, чтобы не сказать топора, делает невозможное возможным»⁶⁷.

Большое внимание европейскому влиянию на декабристов уделено в книге известного итальянского исследователя Ф. Вентури «Братья Поджио и движение декабристов». Вентури исходит из тезиса, что «культура декабристов принадлежит XVIII в.»⁶⁸. Поэтому особо исследователь останавливается на влиянии на декабристов идей французского Просвещения. В другой своей работе «Детю де Траси и либеральные революции» Вентури касается вопроса о влиянии на декабристов идей французского «идеолога»⁶⁹.

Несколько курьезной представляется попытка французского исследователя Мориса Колена пересмотреть традиционное представление о преобладающем влиянии Франции в формировании декабристской идеологии. «Лично мы полагаем, – пишет Колен, – что начиная с 1780-х гг. английское и немецкое влияния приходят на смену французскому и что они лучше

соответствуют декабристской сентиментальности (*sensibilité*)»⁷⁰. Основой для такого по меньшей мере странного заявления служат, по мысли автора, два обстоятельства: во-первых, эпоха романтизма, когда литературные влияния Германии и Англии сильнее сказываются в русской поэзии, чем влияния французской литературы, во-вторых, рост антифранцузских настроений в обществе. «В напряженной атмосфере 1800–1820, – пишет Колен, – французская культурная “колонизация” была гораздо менее терпима, чем в эпоху Просвещения, она стала казаться еще более парадоксальной после поражения Франции, как своего рода ярмо, которое принималось тем ближе к сердцу, чем прочнее сохранялось в “высшем свете”»⁷¹. Что касается первого утверждения, то оно нуждается в самой тщательной проверке. Литературные влияния Германии и Англии на русский романтизм очевидны, но нельзя не учитывать при этом французский субстрат этих влияний. Поэмы Байрона нередко читались в прозаических французских переводах, а пушкинский *Онегин* «знал немецкую словесность по книге госпожи де Сталь». Второй довод, который приводит Колен, свидетельствует не о слабости французского влияния, а как раз об обратном. Идеи, идущие из Франции в Россию, располагаются на различных «этажах» дворянской культуры, от поверхностного подражания французской моде до глубин мировоззренческих основ. Самые энергичные борцы с французским влиянием чаще всего оказываются людьми не просто европейски образованными, но с явным преобладанием французского элемента в образовании. Видимо, следует различать понятия «французская мода» и «французские идеи». Если первое осуждалось многими декабристами как ненациональное явление, то второе формировало их собственную политическую культуру. Как политики декабристы мыслят теми категориями, которые выработала французская политическая мысль XVIII – начала XIX в.

1990-е годы ни у нас, ни за рубежом практически не дали ничего нового по интересующей нас теме. Это тем более странно, что в центре внимания современных исследователей находится именно либеральная сторона декабристского движения. Между тем без уяснения особенностей воздействия на декабристов французской либеральной публицистики невозможно адекватно представить не только специфику декабристского либерализма, но и характер движения в целом.

Известное высказывание М.И. Муравьева-Апостола: «Именно 1812 год, а не заграничный поход создал последующее общественное движение, которое было в своей сущности не заимствованным, не европейским, а чисто русским»⁷² – не должно вводить в заблуждение. Своего рода психологическим комментарием к нему могут служить слова В.О. Ключевского, противопоставившего поколения екатерининских вельмож и декабристов: «Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими»⁷³.

Глава I

На переломе эпох. К проблеме формирования декабристской идеологии

В июне 1814 г. Александр I посетил Англию. Этот визит, несмотря на пышность и многочисленную свиту царя, носил полуофициальный характер. Не предполагалось ни заключения каких-либо договоров, ни подписания официальных документов. Единственной его целью было заполнить короткий промежуток времени между завершением войны и открытием Венского конгресса, где должны были решаться судьбы послевоенного мира. В Лондоне царя ждала его сестра великая княгиня Екатерина Павловна, которая еще до прибытия брата успела испортить отношения с английским регентом, будущим Георгом IV. По наблюдению княгини Д.Х. Ливен, «этот государь имел превосходную осанку, царственный и эффектный внешний облик, но, по правде сказать, внутри у него не было ничего царственного: ему не хватало величия и благородства. Он был мало уважаем и мало достойным уважения. Он имел много проницательности, но мало честности и совершенно не умел сохранять друзей. Он имел сильную склонность к абсолютизму; английская конституция внушала ему ужас, как впрочем и любая конституция. В его характере не было ничего английского»¹.

Опасаясь возможного мирного договора союзников с Наполеоном, во время конференции в Шатильоне регент тайно через князя Х.А. Ливена в обход своих министров и конституции своей страны предложил Александру I вернуть на французский престол Бурбонов. С французской королевской четой у регента были настолько тесные отношения, что Людовик XVIII позже скажет ему: «Après Dieu, c'est à vous, Monseigneur, que je dois ma couronne»², явно преувеличивая значение этого неофициального демарша в Шатильоне.

Нет никакой необходимости доказывать, насколько причины, по которым Александр I дал согласие на реставрацию Бурбонов, были далеки от причин, по которым английский регент ее добивался. Совершенно очевидно, что русский царь, мягко говоря, не симпатизировал ни Бурбонам, ни регенту

Будущее устройство Европы ему виделось в совершенно иных тонах, чем тем, кто желал восстановления дореволюционных порядков. С высот, на которые судьба вознесла победителя Наполеона, Александр рассчитывал озарить народы Европы лучами великодушия и либерализма. И, конечно же, главным объектом этого озарения должна была стать страна, принесшая России больше всего зла, – побежденная Франция. Окрыленный военными успехами 1814 г., царь спешил в Париж не как завоеватель, а как освободитель. Еще 18 января 1814 г. английский премьер Р.С. Касльри писал лорду Р.Б. Дж. Ливерпулу: «По моему мнению, в настоящее время нам всего опаснее рыцарское настроение Императора Александра. В отношении к Парижу его личные взгляды не сходятся ни с политическими, ни с военными соображениями. Русский Император, кажется, только ищет случая вступить во главе своей блестящей армии в Париж, по всей вероятности для того, чтобы противопоставить свое великодушие опустошению собственной его столицы»³.

Реставрация Бурбонов была преподнесена французам как воля французского народа, а Хартия – как проявление духа времени. Связанная оккупационными войсками во внешней политике и конституцией во внутренней власти Бурбонов практически становилась столь же фиктивной, как и власть английского короля.

В этой связи поездка Александра I в Англию и все его пребывание там имели демонстративно либеральный вид. Откровенно третируя регента и правительство Англии, Александр, как и его сестра Екатерина Павловна, у которой эта демонстрация имела еще более откровен-

ный характер, сблизился с английской оппозицией, представленной партией вигов. «Император ходил один на балы, – пишет княгиня Дивен, – которые в его честь давали герцог Девонширский, лорд Грей, леди Джерси и т. д. и т. д., все господа виги. Обед в Сити поражал своим богатством и великолепием; он был любопытен также и потому, что это был единственный случай, когда регент встретился с вождями партии вигов, своими злейшими врагами; их никогда не приглашали туда, где мог находиться государь»⁴.

Еще более вызывающий характер имел эпизод, когда Александр, приглашенный регентом на придворный ужин, опоздал на два с половиной часа и, принеся извинение, объяснил, что задержался у лорда Грея⁵.

В разговоре с главой оппозиции лордом Греем Александр даже выразил намерение ввести в России *un foyer d'opposition*⁶. Эти слова царя могли означать как то, что он собирается установить парламентское правление наподобие английского, так и то, что в России нет оппозиции. Меттерних, который был в Англии одновременно с Александром и с иронией относился к его либерализму, позже так описал контакты царя с английскими либералами:

«Я считаю своим долгом сообщить здесь один анекдот, который в состоянии пролить некоторый свет на странные и часто необъяснимые идеи Александра. Его императорское величество с удовольствием угождал отъявленным представителям английской оппозиции. Однажды он попросил лорда Грея представить ему проект создания оппозиции в России. После аудиенции лорд Грей пришел ко мне с просьбой пояснить эту идею царя, которая ему казалась столь же непостижимой, сколь и малореальной. “Неужели царь, – спросил меня лорд Грей, – мечтает ввести в России парламент? В случае если бы он все-таки решился это сделать, я бы остерегся его к этому подталкивать. Ему нет никакой необходимости утруждать себя созданием оппозиции. В ней и так не будет недостатка”»⁷.

Можно сомневаться в истинности слов Меттерниха. У лорда Грея не было никакой необходимости советоваться с человеком, имеющим репутацию ярого реакционера, относительно либеральных намерений царя. Однако до австрийского дипломата, видимо, действительно дошли слухи о разговорах Александра с главой английской оппозиции, и он придал ему в своих позднейших воспоминаниях анекдотическую форму, не принимая всерьез ни искренность, ни глубину александровского либерализма.

Говоря с оппозиционером об оппозиции, царь, конечно, имел в виду не оппозицию себе, а оппозицию, которую он мог возглавить или, во всяком случае, которой мог бы покровительствовать в борьбе со старорежимными приверженцами феодальных порядков.

Подобного рода идеи, видимо, посещали его и раньше. В мемуарной книге «Десять лет в изгнании» Мадам де Сталь приводит свой разговор с Александром, состоявшийся во время войны 1812 г. в Петербурге: «Император с энтузиазмом говорил мне о своем народе и о всем том, что он способен совершить. Он выразил желание, которое все за ним знали, улучшить положение крестьян, все еще находящихся в рабстве. “Сир, – сказала я ему, – ваш характер является конституцией для вашей империи, а ваша совесть – ее гарантия”. – “Даже если бы это было так, – ответил он мне, – я был бы лишь счастливой случайностью”. Прекрасные слова, впервые, по-моему, произнесенные абсолютным монархом»⁸.

Эти слова часто цитируются в литературе об Александре I, но при этом, как правило, не обращают внимание на иную версию (хронологически более раннюю), приводимую де Сталь в книге «Размышления об основных событиях Французской революции». Эта версия пронизана гораздо большим драматизмом: «Я имела честь видеть его <т. е. Александра I> в Петербурге в самый замечательный момент его жизни, когда французы шли к Москве и когда он, отказываясь от мира, который предлагал ему Наполеон, считавший себя победителем, торжествовал над своим врагом более тонко, чем позже сделали это его генералы. “Вы не знаете, – сказал мне император России, – что русские крестьяне – рабы. Я делаю все что могу, чтобы посте-

пенно улучшить их положение в моих владениях. Но в других местах я встречаю противодействие, с которым спокойствие империи меня заставляет считаться”. – “Сир, – ответила я ему, – я знаю, что Россия теперь счастлива, хотя она и не имеет другой конституции, кроме характера Вашего Величества”. – “Даже если бы ваш комплимент был правдой, – ответил император, – я был бы только счастливой случайностью”. Я с трудом верила в то, что эти самые прекрасные слова были произнесены монархом, положение которого могло вводить в заблуждение относительно участи людей. Не только самовластное правление отдаёт народы на произвол случайного характера наследственной власти, но даже самые просвещённые короли, если в их руках сосредоточена неограниченная власть, не могут, даже если бы они этого хотели, воодушевить народ силой и достоинством своего характера. Только Бог и закон одни могут управлять людьми, не унижая их»⁹.

Если в мемуарах де Сталь лишь прославляет Александра за его «прекрасные слова», то в «Рассуждениях» она показывает, как либерально настроенный царь не в состоянии изменить положение в стране, не меняя характера своей власти. В личности царя либерал как бы отделен от монарха. Первый говорит о рабстве народа, второй – о спокойствии империи. Отсюда вытекает мысль о необходимости оппозиции, на которую мог бы опереться либерал Александр против абсолютной монархии, опирающейся на непросвещённое дворянство.

Далеко не случайно речь о *foyer d'opposition* зашла в Англии – стране с наиболее прочными конституционными порядками и наиболее сильной оппозицией. Получалось так, что русские войска освободили Европу от наполеоновского деспотизма, а теперь европейские идеи освободят Россию от рабства. В этом смысле Александр предполагал действовать не путем насильственного реформаторства, как в свое время Петр I, а либерально-оппозиционным путем, что позволяло не брать на себя никаких конкретных обязательств относительно перспектив реформаторства и сохранять при этом репутацию либерала.

Возникла парадоксальная ситуация: царь, в руках которого сосредоточена вся полнота власти и который считает необходимым проведение либеральных реформ, отказывается от реформаторской политики как *основного* правительственного курса. Оппозиция и власть как бы меняются местами. Политические силы, недовольные либерализмом царя, отстаивающие неприкосновенность феодального строя, оказываются в центре, а либеральная власть занимает подчеркнуто периферийное положение. Она критикует приверженцев старых порядков и даже иногда лишает должностей, но не устраняет окончательно с политической арены. Александр выступает в роли критика существующих порядков, а не борца с ними. В этом отношении показательна реакция царя на манифест А.С. Шишкова от 30 августа 1814 г. Сделав множество поправок, Александр вернул манифест на доработку.

«На другой день, – вспоминает Шишков, – переписав бумагу, принес я ему оную для подписания. Прочитал еще раз. Он взял перо; но вдруг остановился, оттолкнул от себя бумагу и сказал: “Я не могу подписать того, что противно моей совести и с чем я нимало не согласен”. Я с удивлением взглянул на него и, увидя, что он от досады весь покраснел, сказал ему с твердостью: “Государь, Вы нигде при чтениях моих не изволили сделать замечания Вашего, и потому я не знаю, какое место или слово противно мнению и воле Вашего Величества”. Он указал мне на статью о помещиках и крестьянах, где о существующей между ними связи сказано: “... на обоюдной пользе основанная”. Выражение сие находил он с мнением своим несогласным и несправедливым. Я хотел объяснить ему, что всякая связь между людьми, из которых одни повелевают, а другие повинуются, на сем токмо основании нравственна и благотворна; что самая вера и законы предписывают сие правило и что помещики, не наблюдающие онаго, лишаются власти управлять своими подчиненными; но он, не допустив меня ни до каких объяснений, вычеркнул одно только сие выражение, о ставя все прочее, то же самое подтверждающее, и отдал мне бумагу назад для переписания. Сие несчастное в Государе предубеждение против крепостного права в России, против дворянства и против всего прежнего устройства и порядка

внушено ему было находившимся при нем Лагарпом и другими, окружавшими его, молодыми людьми, воспитанниками французов, отвращающими глаза и сердце свое от одежды, от языка, от нравов, словом, от всего русского»¹⁰.

Присущая Шишкову галлофобия в данном случае его не подвела. Старый адмирал верно почувствовал французские корни александровского либерализма.

Либеральная Европа была буквально покорена великодушием Александра I и умеренностью его территориальных претензий. Муссирующийся на протяжении XVIII в. миф о русской угрозе¹¹ был если не вытеснен вовсе, то, во всяком случае, значительно потеснен новым пониманием роли России в европейской политике. Показательную эволюцию в этом отношении можно наблюдать у Ш. Лезюр.

В 1811 г. во втором издании своей книги «О расширении Российского государства от его истоков до начала XIX в.» в духе широко распространенных в то время идей Лезюр утверждал, что в архиве русских царей хранится завещание Петра I его преемникам, представляющее собой план порабощения Европы¹².

Победа России в войне с Наполеоном и внешняя политика Александра I заставили Лезюра по-новому взглянуть на международные отношения России. «Из всех государств, втянутых в последнюю войну против Франции, – писал он, – никто не вышел из нее с большей славой и преимуществами, чем Россия. Напрасно в течение века опасались роста этого государства; лучшие политические писатели сделали из него страшилище Европы, они не умолкали об угрозе вторжения этого народа, еще полу азиатского и варварского, в европейскую систему»¹³.

Однако в целом Лезюр не отказывается от мысли о том, что Россия в XVIII в. действительно представляла угрозу для Европы: «Русская держава была столь ужасной лишь из-за духа ее населения и ее политики. И то и другое должно было измениться». Эти изменения были вызваны прежде всего контактами русских с Западной Европой, благодаря которым «прогресс промышленности и вкус к искусству достигли берегов Волги». Кроме того, Лезюр отметил и цивилизующий фактор войны 1812 г., и особенно заграничных походов: «Поскольку вся Россия свободна, когда она солдат, эта война больше способствовала ее освобождению, чем сто лет мира. Ее солдаты принесут в свои дома вкус к наслаждениям, потребность в которых, как и везде, будет способствовать развитию физических и моральных способностей, и цивилизация найдет там стремление к завоеваниям, полезным для всей Европы»¹⁴.

Доминирующее положение России в послевоенной Европе проявилось, по мнению Лезюра, в том, что в орбиту ее внешней политики оказались втянутыми страны Северной Европы: Швеция, Дания, Пруссия и Голландия. Это сделало ее грозным соперником Англии и естественным союзником Франции. Война настолько же ослабила Францию, насколько укрепила Россию и Англию. «Англия достигла апогея своего могущества и, может быть, того предела цивилизации, который вообще возможно достигнуть человеческому обществу»¹⁵. «Россия поставлена во главу той системы, в которой Франция сегодня занимает последнее место»¹⁶.

Наиболее оптимальное соотношение международных сил, по мнению Лезюра, – это союз Франции и России против Англии и Австрии.

Непонятная как для русских, так и для европейцев идея Священного союза породила у многих политиков подозрения в стремлении России к мировому господству через создание универсальной монархии. Лезюр, который еще в недавнем прошлом был горячим поборником подобных представлений, теперь стал считать их пустыми домыслами. Наилучшим опровержением для него является соблюдение Александром I интересов Франции. Это объясняется не альтруизмом царя, а здравым политическим расчетом. Создание универсальной монархии невозможно без расчленения Франции. А принять непосредственное участие в этом разделе Россия не может из-за своего географического положения, следовательно, если бы такой раздел произошел, то он усилил бы Англию и Австрию, при этом не только ничего не дав России,

но и значительно ослабив ее позиции на Западе. Поэтому политики петербургского кабинета кровно заинтересованы в сохранении Франции как противовеса Англии в Европе.

Франция же своим культурным влиянием на Россию будет способствовать ее внутреннему освобождению. Как и большинство европейских либералов, Лезюр не сомневается в намерении царя освободить крестьян. Причину же промедления он видит в моральной неподготовленности русских к свободе. «Что касается освобождения рабов, объекта особой императорской мудрости, досадно сказать, но он встретил во всех старых провинциях империи препятствия, заключающиеся в нравственном расположении и привычке к рабству народа, призываемого монархом к свободе»¹⁷.

И тем не менее от русского царя ожидали дальнейших либеральных преобразований, которые неразрывно связывались с цивилизующим воздействием европейской культуры на Россию. Было вполне естественно полагать, что Россия, победившая практически всю Европу, примет от нее эстафету цивилизации и прогресса. Деятельность предшественников Александра I на русском престоле – Петра I и Екатерины II, казалось бы, подтверждала эти ожидания.

Во французской печати обсуждался вопрос о характере русского прогресса и о соответствии реформ уровню русской образованности. Необычайная популярность Александра I во Франции в 1814 г.¹⁸ возродила «миф» просвещенного абсолютизма, в основе которого лежала идея союза монарха и философа. Не случайно Бенжамен Констан (1767–1830) настойчиво добивался через Лагарпа встречи с царем. В накануне вышедшей брошюре «О духе завоевания и узурпации» (1813) Констан заявил: «Пожар Москвы стал зарей свободы в мире»¹⁹.

Правда, союза лидера французских либералов и «царя царей» не получилось – помешало внезапное возвращение Наполеона с острова Эльба. Пока Наполеон шел к Парижу, Констан клеймил «корсиканское чудовище»: «Это Аттила, это Чингисхан, более ужасный и более зловещий, потому что к его услугам ресурсы цивилизации»²⁰. Однако дальше события приняли неожиданный оборот. Либерал перешел на службу к «Чингисхану» и был назначен государственным советником.

* * *

Сто дней занимают весьма важное и, может быть, еще до конца не оцененное место в истории европейского либерализма. Среди множества масок у Наполеона была припасена и маска либерала. Либерализм как бы обрамляет наполеоновский период в истории Франции. Своим возвышением он во многом обязан либералам²¹, и последние сто дней его правления также окрашены в либеральные тона.

С врагом Наполеон решил бороться его же оружием. Цена военных побед в Европе сильно понизилась – слишком много их было за последние десятилетия. Популярность Александра I поднялась не на победах, а на миролюбивых и либеральных идеях. И эта популярность была яркой, но непрочной. Она ослепляла лишь тех, кто находился рядом с царем. И если Париж был под несомненным обаянием личности Александра, то по всей территории Франции лучи его славы быстро рассеивались. Поэтому вернувшемуся императору не составило особого труда внушить большинству французов, что союзники и Бурбоны – враги Франции.

Из арсенала революционных времен были извлечены идеи свободы и национальной независимости. Еще в Лионе 13 марта Наполеон начал менять национальную символику. Он убрал королевское знамя и белую кокарду, упразднил знать и феодальные титулы, распустил швейцарские полки и отменил королевские назначения на армейские должности. Взамен снова было введено трехцветное знамя, обязательным стало ношение национальной кокарды, и был издан указ об изгнании всех эмигрантов, вернувшихся вместе с Бурбонами. Упразднилась палата

перов и распускалась палата депутатов. Характеризуя действия Наполеона тех дней, историк А. Уэз пишет: «Наполеон действует с быстротой, решимостью и энергией Конвента. Король поставил его вне закона, в ответ он уничтожил королевскую власть. Крестьяне и рабочие приветствовали в его лице восстановителя народных прав, вождя Революции. Он издает декреты 13 марта, которые отвечают народным чувствам. Под влиянием экзальтированных масс Дофине и Лиона он пропитывается духом 93 года»²².

Дух 1793 года составлял, так сказать, эмоциональную сторону возвращающегося в Париж императора. Реальную же политику предстояло строить на совершенно иных принципах. Наполеон как всегда был чуток к движению идей и быстро оценил значение либерализма. Он понял, что только в качестве конституционного монарха при реально действующей, а не фиктивной конституции он сможет удержаться у власти. На первый взгляд, все говорило в пользу восстановления диктатуры: внутри страны – роялисты, не желающие смириться с его возвращением и готовые строить заговоры, за ее пределами – коалиция, готовящая новое вторжение во Францию. Опыт 1793 г. подсказывал, что в подобной ситуации конституцию лучше отменить или, по крайней мере, отложить ее действие до более спокойных времен. При этом Наполеону не было никакой необходимости открыто заявлять о диктатуре, как это сделали якобинцы в 1793 г. Можно было протянуть время с помощью процедурных мероприятий: выборы конституционного собрания, подготовка конституции, ее обсуждение, голосование и т. д. – все это могло послужить законным прикрытием для фактически безграничной власти.

Но в действительности ситуация складывалась по-иному. В 1799 г. Наполеон, придя к власти, противопоставил идею порядка безвластия Директории. Сама ситуация толкала его к диктатуре. Теперь ему важно было представить королевскую власть как деспотическую, а свою как либеральную. Ему не просто была нужна конституция (своя, а не хартия Бурбонов), она ему была нужна *немедленно*. Поэтому все демократические процедуры принятия конституции отменялись из-за недостатка времени. Выслушав ряд предложений²³, Наполеон приблизил к себе Бенжамена Констана и поручил ему составить новую конституцию. Фактически Наполеон предложил Констану то, что сам Констан, видимо, пытался предложить Александру I – союз монарха и либерального мыслителя. Выбор именно этой кандидатуры был, конечно, не случаен. По верному замечанию А. Фабра-Люса, «в военном духе, во вкусе к единоначалию он призвал к этому делу генерала либералов Бенжамена Констана»²⁴.

Ситуация, в которой оказался Констан, была весьма двусмысленной. До сих пор нет единого мнения на тот счет, чем руководствовался «генерал либералов», приняв предложение о сотрудничестве от того, кого он еще недавно клеймил в своих статьях и памфлетах. В любом случае репутация Констана значительно пострадала. Написанную им конституцию, так называемый «Act additionel», стали называть *la Benjamine*²⁵, а фамилию *Constant* (Постоянный) переделали в *Inconstant* (Непостоянный)²⁶. Удар по репутации оказался настолько ощутимым, что спустя несколько лет Констан вынужден был оправдываться в своем поведении во время Ста дней. Но чем бы ни руководствовался в действительности Констан, перейдя на службу к Наполеону, ему не только не пришлось поступаться своими политическими убеждениями (можно даже с уверенностью предполагать, что Наполеона интересовала не личность Констана как таковая, а его политические взгляды и репутация), но и удалось многое сделать для того, чтобы реставрация старого порядка оказалась невозможной.

Сто дней наглядно продемонстрировали силу либеральных идей. Свою встречу с Наполеоном Констан описал в мемуарах, посвященных этому короткому, но чрезвычайно важному периоду в истории Франции. Благодаря констановским «*Mémoires sur les Cent-Jours*» мы имеем развернутую характеристику политической программы Наполеона в последний период его правления.

«Народ 12 лет отдыхал от политических смут и год от войны, – так в изложении Констан Наполеон начал беседу с ним. – Этот двойной отдых вернул ему необходимость действия (*besoin d'activité*). Он хочет, или он считает, что хочет, трибуну и ассамблеи. Он не всегда хотел их. Он бросился к моим ногам, когда я пришел к власти <...> Вкус к конституциям, дебатам, речам, кажется, пробудился... Тем не менее их хочет только меньшинство, не заблуждайтесь на этот счет. Народ, или, если вам больше нравится, массы, хотят только меня <...> Я хотел мировой империи, и для того, чтобы ее создать, мне была необходима безграничная власть. Для того, чтобы управлять одной Францией, может быть, конституция подойдет лучше (*vaille mieux*) <...> Итак, вы видите то, что вам кажется возможным; сообщите мне ваши идеи. Публичные дискуссии, свободные выборы, ответственность министров, свобода прессы – я хочу всего этого <...>, свободы прессы особенно; душить ее – абсурд. Я убежден в этом <...>. Я человек из народа (*l'homme du peuple*); если народ действительно хочет свободы, я ее ему дам. Я признал его суверенитет. Надо, чтобы я слушал (*que je prête l'oreille*) его желания и даже капризы. Я не хочу больше угнетать его ради своего удовольствия. Я имею великие намерения; его судьба решена. Я больше не завоеватель; я не могу им быть. Я знаю, что возможно, а что нет <...>. Я не враг свободы (*Je ne hait point la liberté*). Я отказался от нее (*je l'ai écartée*), когда она преграждала мне путь; но я ее принимаю, я был воспитан на ее идеях... тем более, что пятнадцатилетний труд разрушен и не может начаться снова. Для этого пришлось бы пожертвовать двадцатью годами и двумя миллионами жизней»²⁷.

Вопрос о том, какими мотивами в действительности руководствовался Констан, перейдя на службу к Наполеону, имеет узкобиографический характер, и в рамках настоящей работы нет необходимости его обсуждать. Важно лишь то, что сам Констан видел в этом (или по крайней мере желал, чтобы это было замечено окружающими) общественно значимый поступок. Приняв предложение Наполеона о сотрудничестве, он поступал не как частное лицо, а как человек, принадлежащий Франции, точнее французскому обществу. Это было сотрудничество, которое, как и раньше, легко могло перейти в оппозицию. Общество нуждается в государственной власти и готово ее поддерживать, но как только государство перестает нуждаться в общественном мнении, общество переходит в оппозицию.

Поражение Наполеона под Ватерлоо снова вернуло Констан к ситуации начала 1814 г. Новым изданием он выпустил свое главное антинаполеоновское произведение «О духе завоевания и узурпации». В дополнении к этому изданию была помещена похвала Александру I как либеральному монарху: «Посмотрите <...> на Россию с начала правления Александра: улучшения носят медленный и постепенный характер; народ просвещается без принуждения; законы совершенствуются в деталях, без намерения разрушить всю законодательную систему; практика, предшествуя теории, подготавливает умы к ее восприятию, и приближается момент, когда эта теория, которая есть только изложение того, что должно быть, станет объяснением того, что уже есть. Хвала государю, который в своей поступи, осторожной и отважной одновременно, благоприятствует любому естественному прогрессу, соблюдает всю необходимую предосторожность и умеет одинаково заручиться как против недоверия, готового прервать движение, так и против нетерпения, которое стремится его обогнать»²⁸.

Не следует удивляться тому, что Констан охотно был готов сотрудничать с двумя непримиримыми врагами: Александром I и Наполеоном. Их вражда в 1814–1815 гг. практически не затрагивала сферу идей. Оба они, не являясь либералами в душе, в равной степени понимали неотвратимость распространения либерализма в Европе и стремились использовать его в своей практической политике. Различие между ними заключалось лишь в том, что в 1814 г. у Наполеона почти не было времени, поэтому его либерализм носил более радикальный характер. Александру же казалось, что у него все впереди и что русский народ еще не созрел для конституции, поэтому можно ограничиться пока лишь Польшей. Удобство либеральной политики заключалось для царя, в частности, в том, что можно было вообще не торопиться. Уме-

ренность в реформах – это как раз то, что проповедовали и ждали от него французские либералы, для которых опыт Петра I был неприемлем.

Реальное положение дел в России Бенжамена Констана явно мало занимало. То, что он писал о России, имеет характер не констатации того, что там происходило, а скорее рекомендаций царю, как надо проводить реформы. В этом же духе написан и его обзор европейских событий для журнала «*Mercur de France*»: «Огромная в своей протяженности и быстрая в своем развитии Россия была, начиная с правления Петра I, предметом удивления и размышления для Европы. В течение достаточно долгого времени можно было считать, что ее прогресс искусственен, так как имеет ускоренный характер. <...> Извлеченная из варварства Петром I, скорее украшенная, чем просвещенная Екатериной II, она получила от Александра то, что два великих предшественника этого государя не могли еще ей дать: национальную основу, соответствующую ее духу, и реформы, пропорциональные тому положению, которое народ в состоянии вынести».

Далее Констан выражает сомнение в возможности введения и плодотворных реформ насильственным путем. «Следует опасаться, что к улучшениям, произведенным неограниченной властью, не смогут привыкнуть. Знать, которая усвоила их из подражания или из расчета, не могла постичь их внутреннего смысла. Она смотрела на философию и просвещение как на роскошь и ремесло, как на украшения, необходимые империи, желающей стать европейской. Народ же подчинился этим изменениям только из послушания и в результате суровых и всегда пагубных мер, часто вопреки своим естественным склонностям».

Констан осуждает поверхностное подражание европейской моде, в жертву которой были принесены основы национального бытия. Внешние изменения не сопровождалось внутренним прогрессом. Это в свою очередь делало все реформы шаткими и обратимыми. «Государь, который решил бы свернуть с новой дороги, проложенной обоими правителями, отбросил бы Россию в начало восемнадцатого века». С другой стороны, не менее пагубным оказалось бы стремление ускорить нововведения без достаточной опоры в народной среде.

И далее Констан, лстя государственному уму Александра, призывает его следовать путем постепенных либеральных преобразований: «Император Александр, избегая этих двух крайностей, достраивает, если так можно выразиться, здание, у которого имелись лишь фундамент и колонны. К образованному дворянству и огромной армии он добавил сильную и благодарную нацию, поощряя освобождение крестьян. Он соблюдает в этом процессе постепенность, права настоящего, не принося их в жертву правам будущего. Он распространяет в массе земледельцев практические знания – первое условие для того, чтобы эта масса получила представление о более высоком порядке. Он позволяет привилегированным сословиям учиться за границей. Таким образом, мы видим, как заполняется та лагуна, которая все еще существует в русской цивилизации. Она заполняется быстро и в то же время последовательно, потому что Александр, великодушный и вместе с тем осторожный в своем поведении, побеждает недоверие, мешающее прогрессу человеческого рода, и нетерпение, стремящееся обогнать время. Таким образом он подготавливает новую эру, и потомство будет ему обязано учреждениями, основы которых он ежедневно закладывает»²⁹.

Оппозиция составляла одну из важных граней либеральной политики вообще. Она позволяла защищать интересы активного меньшинства, предоставляя ему право голоса и являясь наиболее оптимальным способом выражения общественного мнения. В этом смысле Александр I действительно мог иметь в виду то, что в России нет оппозиции, так как до войны 1812 года общественного мнения как такового не существовало. Вместо него было лишь глухое недовольство либеральной политикой, имеющее скорее антиобщественный характер.

Исключение составлял Н.М. Карамзин. Его позиция вызывала у Н.И. Тургенева чувства уважения и осуждения одновременно. «Император Александр сталкивался иногда с сильной оппозицией своим проектам реформ, но не со стороны общественного мнения, которое в Рос-

сии не имело силы, а среди небольшого числа лояльных и искренних людей. Между ними выделялся Карамзин, историограф империи. Может быть, он был единственный, кто осмеливался энергично и свободно высказывать свое мнение самодержцу». Если сама позиция независимости и смелости, с которой Карамзин бросал в лицо царю нелюбимые истины, вызвала у Н.И. Тургенева уважение, какое невольно вызывает человек, «doué d'une âme noble et élevée»³⁰ и который «incapable d'hypocrisie ou de mensonge»³¹, то его идеи представлялись декабристу безусловно вредными.

Н.И. Тургенев размышлял о Карамзине, когда александровское царствование давно завершилось. Разочарованный в его итогах бывший декабрист считал, что та оппозиция, которую воплощал Карамзин, Александра вполне устраивала. Автор записки «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» призывал царя к осторожности в проведении реформ. Н.И. Тургенев видел в этом лишь тормоз на пути прогресса. По его мнению, Карамзин как бы говорил своим соотечественникам: «Вы не способны ни на какой прогресс, довольствуйтесь тем, что делали для вас ваши правители, не пытайтесь проводить реформы, опасаясь наделать глупости»³².

Бенжамен Констан, как мы уже видели, фактически проповедовал то же самое. Так или примерно так думали многие французские либералы после победы России над Францией в 1812 г.

В основе подобного рода размышлений лежала мысль, в наиболее откровенном виде сформулированная Талейраном еще во время Эрфуртского свидания Александра I с Наполеоном: «Французский народ цивилизован, французский же государь – не цивилизован; русский государь цивилизован, а русский народ не цивилизован; следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа»³³.

Парадокс Талейрана, как может показаться, в полной мере оправдался в 1814–1815 гг. Александр I действительно надел маску союзника французского народа. Именно это обличье царя вызвало бурное приветствие со стороны французских либералов и настороженное отношение со стороны французских роялистов.

Что касается русской молодежи, пропитанной патриотическими настроениями 1812 года и французскими либеральными идеями, здесь было все гораздо сложнее. Н.И. Тургенев в апреле 1814 г., находясь во Франции, писал в дневнике: «Теперь возвратятся в Россию много таких русских, кот[орые] видели, что без рабства может существовать гражданский порядок и могут процветать царства»³⁴. А спустя год Тургенев жаловался, что в России «невыгоды, сопряженные с сим либеральным образом мыслей, увеличиваются для того, который так, как я, находясь в службе, и желал бы для общей пользы продолжать оную. Публика легко смешивает либеральные идеи с якобинскими»³⁵.

В России даже в те годы, наверное, немного нашлось бы людей, столь же лояльных по отношению к Александру I, как Н.И. Тургенев. Он так же боготворил царя, как и Отечество: «...имя России не должно быть разделяемо с именем Александра»³⁶. При этом такая лояльность не мешала Тургеневу пользоваться репутацией якобинца³⁷.

Когда много лет спустя декабристы и идейно близкие к ним люди, как, например, П.А. Вяземский, будут писать в своих мемуарах, статьях, оправдательных записках и т. д., что декабризм происходит от либеральных обещаний царя, это будет не искажением действительности, как долгие годы считалось в отечественной историографии, но лишь констатацией парадоксального факта, что сам царь был «оппозиционером» или, во всяком случае, хотел им казаться. Декабрист М.А. Фонвизин несколько не преувеличивал, когда писал: «В первые годы царствования Александра он, конечно, не задумался бы объявить себя главою Союза благоденствия,

которого, однако, сокровенная цель оставалась прежняя: приобрести России законно-свободные установления»³⁸.

Однако, говоря о необходимости оппозиции в России, царь, видимо, изначально не предполагал никаких официальных форм ее проявления. Поэтому перед теми молодыми людьми, которые приняли слова царя как руководство к действию, встал вопрос, каким путем при отсутствии парламентской борьбы либеральная оппозиция может заявить о себе. Общеευропейская ситуация как бы сама подсказывала идею тайных обществ. Опыт национально-освободительной борьбы против наполеоновской Франции породил в Европе целую сеть тайных организаций. Хорошо известный интерес будущих декабристов к структуре и идеологии немецкого Тугендбунда, конечно же, далеко не случаен. Но у этой проблемы была и другая сторона.

Европейский либерализм 1810-х годов был направлен главным образом против революционных идей XVIII в., исходивших из признания за народом неограниченных прав (в том числе и на насилие) при борьбе с деспотизмом. Историческая практика показала, что борьба самого народа с деспотизмом нередко приводит к установлению еще более кровавого деспотического режима. Отсюда возник целый комплекс новых идей.

Во-первых, свобода стала пониматься не как что-то изначально присущее человеку, а как исторически изменчивая категория, зависящая от уровня народного просвещения. Поэтому прежде чем звать народ к свободе, его следует просветить.

Во-вторых, сама идея народа как полнокровного целостного организма оказалась расщепленной на две различные, но глубоко связанные идеи: идею народности как историческую категорию, уходящую корнями в национальное прошлое, и идею личности, требующей гарантии индивидуальных прав и свобод. Движение освободительных идей поменяло вектор. Если раньше оно было направлено от народа к личности, то теперь наоборот – от личности к народу. Поэтому, как писал Ю.М. Лотман, «“Тайное общество” в понимании ранних декабристских идеологов было “тайным” не только от правительства, но и от народа, во имя которого оно действовало. Народ по уровню своего сознания далек от идеалов свободы, – полагали декабристские руководители на этом этапе движения. Его надо спасти, несмотря на собственное его равнодушие, а порой и рабскую враждебность делу освобождения»³⁹.

Однако в Европе и в России ситуация складывалась по-разному. Французская революция, несмотря на все ее эксцессы, принесла реальное освобождение французскому народу, а последовавшие за ней наполеоновские войны способствовали значительному ослаблению абсолютистских режимов в остальной Европе. При этом отмена сеньориальных привилегий, уравнивание прав, развитие гражданских институтов власти и т. д. – все это сопровождалось чудовищным попранием индивидуальных прав и свобод. Не только вчерашние угнетатели быстро превращались в самую угнетенную часть населения, но и права обыкновенного человека из среднего и даже низшего сословия *практически* не были ничем гарантированы. На повестку дня встал вопрос о защите прав отдельного человека от посягательств какого-то ни было большинства. Отсюда необыкновенная популярность и жизнеспособность либеральных идей.

* * *

В Европе этот комплекс идей с наибольшей полнотой и глубиной развивал уже упоминавшийся Бенжамен Констан. Его политические взгляды многократно и детально описаны в научной литературе⁴⁰. Констан не создал целостного философско-политического учения⁴¹. Принципы, которые он проповедовал, были весьма просты и типичны для либерализма вообще – это традиционный набор прав и свобод, выделяющих индивидуальность из недифференцированной народной массы и защищающих ее от государственных структур.

Популярность и авторитет лидеру французских либералов обеспечили быстрота его реакции на происходящие события и виртуозное умение рассматривать политические процессы в преломлении либеральных идей. Он обладал способностью, как никто другой, четко и ясно формулировать общие идеи и в этом смысле был не столько мыслителем, сколько учителем. Не случайно Н.И. Тургенев писал, что Констан «сделал больше всех для политического образования не только Франции, но и всей континентальной Европы. Это он внушал своим современникам самые полезные, здравые и плодотворные мысли»⁴².

Либеральная идеология на рубеже XVIII–XIX вв. сражалась на два фронта. С одной стороны, она, самоутверждаясь, отталкивалась от предшествующих демократических идей эпохи Просвещения, а с другой – пыталась противостоять режиму Наполеона как внутри Франции, так и в Европе. В политическом плане либералы были принципиальными оппозиционерами. Наполеон с этим мириться не мог и не хотел, поэтому буквально в самом начале его единовластного правления либеральная оппозиция, не успев окрепнуть, оказалась разгромленной. Бенжамен Констан одним из первых попал под удар, и с 1802 по 1813 г. он находился на полуопальном положении.

Расцвет его политической деятельности приходится на период второй реставрации (1815–1820 гг.). Это время наивысшего влияния Констанана на умственную жизнь Европы и России.

Во многом благодаря ему европейская общественно-политическая мысль, переживавшая кризис после Французской революции, обрела новые пути развития. Ему удалось найти продолжение той нити, которая шла от просветителей XVIII в. и казалась оборванной в ходе якобинского террора.

В 1814 г. в своей знаменитой брошюре «О духе завоеваний и узурпации» Констан противопоставил античное понимание свободы новому. В античных республиках свобода понималась как прямое участие народа в управлении государством. Чем значительнее была удельная доля индивидуума в национальном суверенитете, тем больше самоотречения от него требовалось. «Это самоотречение было необходимо для того, чтобы народ мог в максимальной степени пользоваться политическими правами, иными словами для того, чтобы каждый гражданин имел свою часть в суверенитете. Для этого нужны были институты, которые поддерживали бы равенство, препятствовали росту состояний, уничтожали различия, противостояли влиянию богатства, талантов и даже добродетелей»⁴³.

Таким образом, личность в античных республиках Греции и Рима была полностью подчинена социальным институтам. Речь, разумеется, шла не о реальной античности, а о ее мифологизации в произведениях Руссо и Мабли, в полемике с которыми Констан развивал собственную концепцию свободы.

Современное положение вещей исключает прямое участие народа в государственном управлении. Единственную возможность как-то влиять на ход государственных дел ему дает представительное правление. Преимущество античной свободы заключалось в том, что каждый оказывался в числе правителей, преимущество современной свободы состоит в возможности быть представленным путем выбора. Древние граждане получали удовольствие от действия, современные получают его от размышления. Первое было более ощутимым, но требовало и больших жертв, второе менее ощутимо, но не требует от человека полного самоотречения. Древние не понимали радости частной жизни, поэтому, по мнению Констанана, они полностью посвящали себя общественному служению. Но постепенно «прогресс цивилизации, развитие торговли, общение людей друг с другом умножали и разнообразили до бесконечности возможности индивидуального счастья. Для того, чтобы быть счастливыми, люди нуждаются только в том, чтобы им предоставили полную свободу в их занятиях, предприятиях, сфере активности и фантазиях»⁴⁴.

Полностью изменился характер человека, так как человечество, выйдя из младенческого состояния, успело состариться и утратить вкус к активным формам жизни: «Мы потеряли в воображении то, что мы получили в знании, через это мы стали неспособны к длительному воодушевлению. Нравственная жизнь древних находилась в состоянии юности, наша находится в состоянии зрелости и, может быть, старости. Мы влечем за собой груз задних мыслей, рождающих опыт и убивающих энтузиазм. Первое условие энтузиазма – это не наблюдать с пронизательностью самого себя. Мы так боимся быть обманутыми или казаться ими, что беспрестанно самым беспощадным образом следим за нашими впечатлениями. Древние о всех предметах имели целостные суждения, мы же почти обо всем имеем суждения мягкие и колеблющиеся⁴⁵, в неполноте которых напрасно ищем рассеяния. Слово *иллюзия* не имеется ни в одном из древних языков, потому что оно появляется, когда исчезают предметы»⁴⁶.

Эти слова представляют собой как бы психологический концентрат европейского романтизма, точнее, того направления в литературе, которое в русской традиции будет связываться с именем Байрона, но еще до Байрона Б. Констан отразил его в своем романе «Адольф» (1807).

С изменением представлений о свободе изменился и характер государств. В древности для процветания государства необходимы были завоевания. Военное государство неизбежно одерживало победы над государствами торговыми. «Карфаген, сражающийся против Рима, должен был пасть, потому что против него была сила вещей»⁴⁷. В современности же торговая Англия победила военную Францию. Война, как считает Констан, стала анахронизмом, и время античных республик прошло. Поэтому философы, строящие свои теории исходя из античного понимания свободы, лишь способствуют распространению деспотизма.

Особо яростным атакам Констан подвергается учение Руссо и Мабли о безграничности народного суверенитета. «Общественный договор» Руссо, по его мнению, является «самым ужасным пособником всех видов деспотизма»⁴⁸, а книга Мабли «О законодательстве, или принципы законов» – «самым полным кодексом деспотизма, который только можно вообразить»⁴⁹. Исследователи, часто цитирующие эти высказывания, как правило, не поясняют логику Констан, и их цитирование свидетельствует скорее о солидарности, чем о понимании сути.

Констан прекрасно осознавал, что, вступая в полемику с Руссо и Мабли, он оказывается в двусмысленном положении. Эти философы вместе с Вольтером, Дидро, Даламбером и др. были постоянной мишенью для атак всех противников Французской революции, которые усматривали в их идеях разрушительную силу. При этом речь шла не о ином понимании свободы, а о противопоставлении свободе как таковой иной системы ценностей: религиозных, сословных, абсолютистских и т. д. Поэтому Констан считал необходимым размежеваться со своими идейными врагами, с которыми он, как могло показаться, совпадал в критике просветителей. «Я далек, – заявлял Констан, – от того, чтобы присоединиться к клеветникам Руссо. Они многочисленны в настоящий момент. Сброд незрелых умов, стремящихся утвердить свой мимолетный успех, подвергая сомнению все мужественные истины, беснуется, чтобы опорочить его славу: причина более чем достаточная для того, чтобы быть осмотрительным, опровергая его»⁵⁰.

Ошибка Руссо и Мабли, по мнению Констан, заключается в самой постановке вопроса о гарантиях свободы. Они связывали это с положением о том, в чьих руках находится реальная власть: «В истории они видели небольшое количество людей или даже одного человека, обладавших огромной властью и приносящих много зла, и их гнев направлялся на обладателей власти, а не на самое власть»⁵¹. Сама же идея безграничной власти не вызывала у них сомнения. Предполагалось, что если эту власть дать в руки *всего* народа, как это было в античных республиках, то общество будет свободным и счастливым, так как каждый член этого общества не может иметь интересов, отличных от интересов общества в целом.

Это вызывало протест Констана, которому такое учение напоминало произведения схоластических писателей XV в., не имеющие ничего общего с реальностью. В противовес этому Констан выдвинул идею ограничения *любой* власти: «Суверенитет может существовать только в ограниченном и относительном виде. Там, где начинается независимость индивидуального существования, там заканчивается юрисдикция суверенитета. Если общество переступает эту черту, оно становится так же виновно, как деспот, не имеющий иного права, кроме права меча <...> Руссо не знал этой истины»⁵².

Последняя фраза звучит как оправдание историей. Во времена Руссо еще не было современного Констану представления о свободе. Поэтому Руссо не враг свободы, а человек, стремящийся к ней, но не видящий правильного пути. В этом смысле Констан его расценивает скорее как своего предшественника, чем как врага. Оба стремятся к одной цели, но разными путями.

Полемика с Руссо в системе политических взглядов Констана занимает одно из центральных мест. Она позволяет негативным образом сформулировать новые принципы, на которых должны строиться отношения личности и народа: «Народ не имеет права ни карать, ни объявлять виновным кого бы то ни было без законных доказательств. Он не может также никому передать подобное право. Народ не имеет права посягать ни на свободу мысли, ни на свободу совести, находящиеся под защитой закона. Никакой деспот, никакое собрание не могут пользоваться подобным правом, утверждая, что народ облек его им. Любой деспотизм, таким образом, незаконен и не может быть ничем санкционирован, даже волей народа, на которую он ссылается. В этом случае он присваивает себе от имени народного суверенитета власть, которую этот суверенитет не предполагает. Это не просто незаконное перемещение существующей власти, но создание власти, которая не должна существовать»⁵³.

Итак, на место свободы, основанной на власти, Констан ставит свободу, основанную на законе. При этом сама замена приобретает знаковый характер. Просветители свободу понимали как врожденное свойство человека, это свобода от тех ограничений, которые накладывают на человека социальные отношения, в том числе и законы гражданские. Просветители признавали необходимость гражданских законов, но считали их необходимым злом, препятствующим естественной свободе людей. Не только Руссо с его культом первобытного состояния людей, не знающих иных законов, кроме законов природы, но и Вольтер, сторонник цивилизации и прогресса, видели в гражданских законах отражение тех заблуждений и противоречий, которыми характеризуется история вообще. В «Опытах о нравах» Вольтер писал: «Люди могут создавать только условные законы. Один творец природы мог создать вечные законы естества. Единственный основной и неизменный закон, который есть у людей, – это *поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой*». Но этот закон, который сама природа поместила в сердце человека, как скептически замечает Вольтер, «из всех законов соблюдается хуже всех»⁵⁴.

Такое отношение к законам у просветителей не случайно. Феодалное общество, против которого направлялись стрелы Просвещения, было чрезвычайно насыщено всевозможными знаками, имеющими в глазах людей самостоятельную ценность. Отсутствие единого законодательства восполнялось существованием огромного количества юридических норм, накладывающих на людей множество ненужных ограничений. На этом фоне стали звучать призывы вернуться к естественным потребностям и обрести подлинные ценности взамен знаковой мишуры. Если законы природы объединяют людей, то законы общества их разделяют. Смягчить зло гражданских законов можно, лишь постаравшись приблизить их к законам естественным. Там же, где люди живут в полной гармонии с законами природы, гражданские законы оказываются ненужными. Привлекательность этих идей не утратила силу и в современную Констану эпоху.

Об этом, в частности, можно судить по романам Вальтера Скотта, рисующим быт и обычаи шотландских племен, и по поэмам Байрона.

Констан же гражданские законы противопоставляет не законам природы, а правительственному произволу. Поэтому он стремится к восстановлению знаковости, или, как он выражается, форм, видя в них границы, защищающие суверенность личности. В этом отношении его позиция может быть охарактеризована не только как либеральная, но и как консервативная. «Именно соблюдение форм защищает человека от произвола. Формы – это божества, охраняющие человеческие ассоциации, формы – единственные защитники невинности, формы – единственные нити, связывающие людей между собой. За их пределами все погружается во мрак, сознание становится одиноким, а мысль шаткой. И только формы способны сделать их ясными, и только к формам может взывать угнетенный»⁵⁵.

Любопытно отметить, что антипросветительская по своей направленности мысль выражается просветительским языком. Констан наделяет формы тем же чертами, какими просветители наделяли природу: божественность, равенство, сближение людей и т. д.

Отсюда Констан делает следующий шаг в сторону феодальной знаковости. Он предлагает возродить рыцарство, правда с некоторыми ограничениями в духе времени. «Следовало бы, – пишет он, – окружить рыцарский дух барьерами, за пределы которых он не мог бы выйти, но оставить ему благородное стремление на том пути, который природа открывает перед всеми».

Правда, рыцарство Констан мыслит как явление культурное, а не социальное: «Греки щадили пленных, которые могли прочесть стихи Еврипида. Малейший проблеск знания, малейшее зерно мысли, малейшее чувство прекрасного, малейшая форма элегантности должны быть бережно сохранены. Это составляет неотъемлемую часть общественного счастья, надо спасти ее от бурь. Это следует сделать и в интересах справедливости, и в интересах свободы. Потому что все эти вещи ведут к свободе более или менее прямыми путями»⁵⁶.

Просветительскому отрицанию исторического прошлого Констан противопоставляет идею непрерывности исторического процесса. Там, где просветители видели предрассудки и преступления, Констан видит осененные временем народные традиции, передающиеся от поколения к поколению: «*Каждое поколение*, говорит один из иностранцев⁵⁷, который лучше всех предвидел истоки наших ошибок, *каждое поколение наследует от своих предков сокровище нравственных ценностей, сокровище невидимое и драгоценное, которое оно затем передает своим потомкам*»⁵⁸. Полностью солидаризуясь с этими мыслями, Констан считает, что законодательство любого народа тем прочнее и тем больше соответствует его духу, чем глубже оно уходит своими корнями в исторический опыт.

Напомним, что именно это, по мнению Вальтера, делает законы «почти повсюду неопределенными, недостаточными, противоречивыми»⁵⁹. И как бы возражая своему великому предшественнику, Констан пишет: «Благо законов, осмелюсь сказать, вещь менее важная, чем тот дух, с которым народ подчиняется этим законам. Если он дорожит ими, если он соблюдает их, полагая, что они берут начало в святом источнике, являющем собой дар предков, то эти законы тесно связаны с народной нравственностью, они облагораживают народный характер, и даже если они ошибочны, в них все равно больше добродетелей и счастья, чем в самых лучших законах, опирающихся только на авторитет власти»⁶⁰.

Такая позиция Констан казалась его критикам настолько консервативной, что уже в 4-м издании своей книги «О духе завоевания и узурпации» он вынужден был посвятить две дополнительные главы своему оправданию. Суть этого оправдания сводилась к тому, что автор вовсе не противник реформ и постепенного прогресса и что далеко не все в прошлом ему кажется достойным уважения и сохранения, но при всем том «улучшения, реформа, уничтожение злоупотреблений только тогда полезны, когда они следуют народному желанию, и становятся гибельными, когда предшествуют ему»⁶¹.

Таким образом, либерализм в отличие от Просвещения делал ставку на практику, а не на теорию, на опыт, а не на разум, на отдельную личность, а не на народ в целом, но при этом он питался тем же пафосом освободительных идей и во многом использовал ту же логику, что и Просвещение.

* * *

Те вопросы, которые во Франции были решены революционным путем, в России еще не потеряли своей актуальности. Освобождение народа от крепостного права по-прежнему оставалось наиболее острой социальной проблемой. Все рассуждения о правах *отдельного индивидуума* перед лицом «рабства дикого» казались весьма абстрактной проблемой. Либерализм для крепостного права был все равно, что комариный укус для слона. Здесь требовались гораздо более радикальные и более *демократические* методы.

На повестке дня стоял вопрос не о защите меньшинства от деспотизма большинства, а об освобождении большинства населения огромной империи от угнетения его меньшинством. Ситуация осложнялась еще и тем, что среда, наиболее активно продуцирующая идеи освобождения, представляла это самое меньшинство угнетателей. Оно являлось как бы меньшинством в меньшинстве, отстаивающим интересы большинства.

Поэтому русский либерализм имел более *демократический* характер, чем либерализм европейский, а идеи Просвещения для декабристов были не столько предметом полемики, сколько арсеналом, из которого черпались средства идеологической борьбы. На их книжных полках произведения Вольтера, Гельвеция, Руссо, Дидро соседствовали с томами Плутарха, Тита Ливия, Тацита, Макиавелли, с сочинениями Детю де Траси, Мадам де Сталь, Бенжамена Констана, с номерами «*Moniteur Universel*», «*Mercure de France*», «*La Minerve française*», «*Nain jaun*» и др. Но характер чтения этих книг был различен.

Произведения просветителей и либеральная публицистика 1810-х годов соотносились в сознании декабристов как классика и современная литература. Первое, знакомое им, как правило, с детства было вхождением в мир культуры, второе, читаемое уже в зрелом возрасте, означало вхождение в политику. Восприятие современных декабристам произведений Б. Констана и Мадам де Сталь накладывалось на прочный культурный фундамент, заложенный детским и юношеским чтением произведений Вольтера и Руссо⁶².

При этом нередко декабристы отдавали предпочтение классическим произведениям перед современными. Н.И. Тургенев записал в дневнике: «Политические писатели того времени <...> либеральнее наших»⁶³.

В другом месте дневника Н.И. Тургенев писал: «Каждый век имеет особенную печать свою. Прошедший век отличается тем, что все рассуждали и писали о достоинстве человека, о самостоятельности и независимости государств; о свободе граждан относительно их лиц и относительно их собственности. Это был век благородства, в коем царствовали чувствования сердца и понятия рассудка»⁶⁴.

Как известно, каждый исторический период порождает свои культурные мифы, и современная Н.И. Тургеневу эпоха в этом смысле не была исключением. Из приведенных дневниковых записей видно, как либеральный миф переносится на эпоху Просвещения и просветители становятся не только предшественниками современных либералов, но и творцами классического либерализма.

Вопрос о восприятии декабристами эпохи Просвещения представляет собой отдельную проблему и выходит за рамки настоящей работы. В данном случае нас интересует прямо противоположный процесс: как обломки мифа, созданного деятелями французского Просвеще-

ния в середине XVIII в. и разрушенного в ходе Великой французской революции, «всплывают» в декабристских идеях.

В основе просветительского мифа лежит борьба разума и предрассудков⁶⁵. При этом разум мыслится как вечное и неизменное начало, а предрассудки есть следствие отклонения от разума. Таким образом, онтологической природой обладает только добро, а зло – это всего лишь отсутствие добра. Поэтому переход от зла к добру, т. е. от предрассудков к разуму, может произойти мгновенно, подобно моментальному пробуждению. Как инвариант антитеза *разум – предрассудки* может реализовываться в целом ряде противопоставлений: *природа – цивилизация; вещи – знаки, теория – история* и т. д. Последний аспект имел очень важное практическое значение. Он отрицал как феодальное право на владение землей, так и всю исторически сложившуюся систему феодальных отношений. «То, что исторически сложилось, – пишет Ю.М. Лотман, – объявлялось плодом предрассудков, насилия и суеверия»⁶⁶.

Принципиальный антиисторизм просветителей, пожалуй, ярче всего проявился в отношении декабристов к истории. Мать П.И. Пестеля Елизавета Ивановна писала ему: «Я так же отношусь к истории, как ты, мой добрый друг. Я ее ненавижу за то, что она всегда и всюду есть картина преступлений и страданий рода человеческого»⁶⁷. Эти слова звучат как вариация на тему Вольтера о том, что «история <...> есть нечто иное, как собрание людских заблуждений»⁶⁸. В XXIII главе «Опыта о нравах и духе наций» Вольтер писал: «История великих событий в этом мире – это только история преступлений»⁶⁹.

Но тот же Вольтер был убежден, что подлинная история человечества, не такая, какая она есть, а такая, какой она должна быть, еще не началась. Она начнется, когда суеверие и фанатизм будут окончательно побеждены прогрессом человеческого разума. Отсюда логически вытекал вывод, что задача историка не в сборе и изучении фактов, а в вынесении приговора прошлому с позиций сегодняшнего дня. Поэтому изучение истории преследует только отрицательную цель – показывать то, что не должно было бы произойти.

На первый взгляд, декабристы далеки от презрительно высокомерного отношения Вольтера к историческому прошлому. Историю Средних веков, по мнению Вольтера, «надо знать только для того, чтобы ее презирать»⁷⁰. Декабристы были проникнуты прямо противоположным чувством по отношению к русскому Средневековью. «Думы» Рыльева, полемика М.Ф. Орлова с «Историей» Карамзина, древнерусские повести А.А. Бестужева, В.К. Кюхельбекера и т. д. – все это красноречиво свидетельствует о культе родной старины. Но и здесь просветительский субстрат дает о себе знать. История ими не изучается, а конструируется. У них, как и у просветителей, отсутствует уважение к прошлому как к таковому. Оно для них не предмет изучения, а средство воспитания. В этом смысле они вполне солидарны с Мабли, утверждавшим, что «история должна быть школой политики и нравственности»⁷¹.

Именно так на историю смотрел И.И. Тургенев. Характерна его оценка «Истории» Карамзина. Еще не вышли из печати первые тома, а он уже пишет брату, С.И. Тургеневу: «Я ничего еще не читал, но, посмотрев на Карамзина, думаю, что мы будем лучше знать *facta* русской истории, но не надеюсь, чтобы сие важное для России творение распространило у нас либеральные идеи»⁷². Парадоксальность самого утверждения, что историк должен не изучать факты, а распространять либеральные идеи, Тургенева не только нимало не смущает, но освящается авторитетом самого Руссо, заявившего в предисловии к «Рассуждению о происхождении неравенства»: «Начнем же с того, что отбросим все факты»⁷³. И когда М.Ф. Орлов потребовал от Карамзина вместо «сухой истины преданий» «блестящей и вероятной гипотезы нашего прежнего величия», это не означало, что декабрист требовал от историка писать неправду. Это означало лишь то, что он сомневался в истинности источников, которыми пользовался Карамзин.

Историческим документам как отражениям человеческих предрассудков Орлов противопоставляет логику просвещенного Разума: «Я <...> не думал никогда, что история наша основана будет на вымыслах Иорданеса, уничтоженных Пинкертоном, на польских преданиях, на ложном повествовании о Литве, на сказках исландских и на пристрастных рассказах греческих писателей. Я надеялся, что язык славянский откроет нам глаза на предрассудки всех писателей средних веков, что он истолкует названия тех варварских племен, кои наводнили Европу, докажет единоплеменство оных и соделается, так сказать, началом и основанием истории новейших времен»⁷⁴.

Таким образом, представление о том, что историк должен руководствоваться разумом, а не фактами, восходит непосредственно к просветительской традиции, следы которой отчетливо проступают сквозь патриотизм Орлова.

Одним из важнейших вопросов Просвещения был вопрос о свободе. Для просветителей свобода органично присуща человеку, так как человек рождается свободным. Несвободным его делают социальные предрассудки. Поэтому Просвещение само по себе не может сделать человека свободным. Оно может лишь напомнить о том, что свобода дана ему самой природой. Что касается ложно понятого просвещения, то оно может стать одним из источников несвободы. У А.С. Грибоедова есть фраза: «борьба горной и лесной свободы с барабанным просвещением»⁷⁵.

Связывая свободу в первую очередь с Природой, а не с просвещением, просветители считали, что переход от рабства к свободе может быть мгновенным. При этом свобода мыслилась ими прежде всего как свобода *всего* народа. Вопрос о правах и свободах отдельной личности решался более сложно, и на этот счет мнения расходились, но независимо от этого просветители были убеждены в том, что все, что хорошо для народа в целом, хорошо и для отдельной личности.

Эти идеи, оформившиеся в теорию безграничного народного суверенитета, восходившую к античному «мифу» о республиканских добродетелях, как было показано выше, вызвали резкую критику Б. Констана, противопоставившего им новое понимание свободы – свободы индивидуальной личности.

В России оба этих представления – и античный республиканизм, и современная идея индивидуальной свободы – не исключали одно другое, а существовали вместе. Война 1812 года породила у будущих декабристов культ народа-гражданина и ощущение собственной причастности к Истории. Если французскими либералами свобода личности мыслилась прежде всего как право человека на независимое существование, в том числе и на неучастие в гражданской жизни, то в передовых кругах России свобода понималась в первую очередь как свобода действий, направленных на общественное благо.

«Великие события Отечественной войны, – писал в следственных показаниях М.А. Фонвизин, – оставив в душе глубокие впечатления, произвели во мне какое-то беспокойное желание деятельности» (III, 71). Направленность этой деятельности пояснил А.А. Бестужев в своем знаменитом письме Николаю I из Петропавловской крепости: «...народ русский впервые *ощутил свою силу*; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной»⁷⁶.

Личность и народ оказывались спаянными самой Историей. Античные образцы всплывали в сознании людей и служили важным моментом самоидентификации. П.Х. Граббе писал: «Главные мои воспитатели были древние. Плутарх в особенности, рано попавшийся мне в руки, открыл мне в своих простодушных рассказах новый мир, идеалы значения и величия человека, чудные судьбы его»⁷⁷.

О том, как Граббе в быту следовал наставлениям древних, сохранилось яркое свидетельство в «Записках» Якушкина. Граббе был у него в гостях и собирался ехать представляться

Аракчееву. «Между тем... – пишет Якушкин, – разговор попал на древних историков. В это время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами. Граббе тоже любил древних. На столе у меня лежала книга, из которой я прочел Граббе несколько писем Брута к Цицерону, в которых первый, решившийся действовать против Октавия, упрекает последнего в малодушии. При этом чтении Граббе видимо воспламенился и сказал своему человеку, что он не поедет со двора, и мы с ним обедали вместе; потом он уже никогда не бывал у Аракчеева, несмотря на то, что до него доходили слухи через приближенных Аракчеева, что граф на него сердится и повторял несколько раз: Граббе этот видно возгордился, что ко мне не едет. Вскоре после этого Фонвизин принял Граббе в члены Тайного общества»⁷⁸.

Участие народа в войне с Наполеоном хорошо вписывалось в рамки просветительских идей о праве народа на восстание против тирана, угрожающего народной свободе. Поэтому победа над Наполеоном мыслилась не только как победа России над Францией, но и как освобождение русского народа, а сохранение крепостного права воспринималось как вторичное порабощение.

Все это порождало представление о возможности *немедленного* освобождения крепостных. Н.И. Тургенев писал брату С.И. Тургеневу: «Время плохой врач в болезни несчастья народного»⁷⁹. Как и просветители, он был убежден, что не просвещение является источником свободы, а, наоборот, свобода ведет к подлинному просвещению: «Свобода, устройство гражданское производит и образованность и просвещение»⁸⁰. В этом он расходился и с Карамзиным, и со многими французскими либералами, имеющими противоположную точку зрения.

Н.И. Тургенев был глубоко возмущен, прочитав в «Moniteur Universel» от 28 ноября 1817 г. рецензию на книгу французского либерального философа и публициста П.Г. Азаиса «О мудрости в социальной политике или о той степени свободы, которую следовало бы в настоящий момент предоставить основным народам Европы»⁸¹. Внимание Тургенева привлекла цитата о России. Азаис утверждал, «что уравновешенная (*balancée*) конституция совершенно не подошла бы еще Империи, протяженность которой огромна, цивилизация очень неравномерна, во многих местах очень мало развита, территория перерезана большими озерами, обширными пустынями, что делает из нее разнородную громаду, без единства, без связи. Для того чтобы уравновешивающая конституция стала возможной, необходимо, чтобы правительство и подданные могли ясно понимать друг друга и быстро сообщаться между собой. Таким образом, так как Россия не образовала еще однородного тела, ей необходима абсолютная власть, и действия этой власти должны быть направлены на то, чтобы придать государству форму единого тела»⁸².

Полемизируя с Азаисом, Тургенев черпает аргументы в просветительском «мифе» о врожденности человеку идей свободы. «Этот Мусье Азаис, – пишет он, – говорит, что Россия, по причине ее пространства и различия образованности населяющих ее народов, не созрела еще для конституции, или – что все равно – для свободы. Все эти люди, которые таким образом говорят о свободе, не знают, не понимают свободы; они не чувствуют, что свобода так натуральна, так свойственна человеку (*si naturelle, si humaine*), что нельзя произнести слово человек, чтобы не иметь вместе с сим понятия о свободе. Все равно если бы кто сказал о людях между снегов, в вечной ночи живущих: они еще не созрели для того, чтобы греться на солнышке»⁸³.

Источник рассуждения Азаиса о России, кажется, можно установить – это книга Мадам де Сталь «Рассуждения о главных событиях Французской революции». Азаис сблизился с де Сталь в последние месяцы ее жизни. Он искал у нее материальной поддержки, и писательница приняла горячее участие в его судьбе. «Мадам де Сталь, – писал Азаис в дневнике 3 февраля 1817 г., – занимается мной, как будто я член ее семьи»⁸⁴. В частности, чтобы дать Азаису зара-

богаты, она поручала ему чтение корректур своих произведений. После смерти писательницы, последовавшей 14 июля 1817 г., Азаис помогал ее сыну Огюсту и зятю де Брогли готовить к печати «Рассуждения»⁸⁵.

Во втором томе «Рассуждений» о России говорится как о стране, еще незрелой до той степени свободы, которой пользуются западноевропейские страны. В частности, указывается и на обширность ее территории и на разнородность народа, включающего в себя тридцать шесть народностей и такое же количество религий, в том числе язычество. Но главная причина, по которой в России не может быть немедленно введена представительная система, заключается, как считает де Сталь, в отсутствии третьего сословия.

По ее мнению, нет никакой необходимости даже в немедленной отмене крепостного права, так как русские крестьяне, «народ почти азиатский», находятся в полной гармонии с внешним миром: «Самая многочисленная часть нации – русские крестьяне, ничего не знающие, кроме земли, которую они обрабатывают, и неба, на которое они смотрят, – имеет в себе что-то истинно восхитительное. Мягкость этих людей, их гостеприимство, их природная элегантность – все это необыкновенно. Для них не существует никакой опасности, нет ничего невозможного, пока ими правит их хозяин»⁸⁶.

Эти рассуждения вызвали у Тургенева такое же неприятие, как и цитата из Азаиса, хотя в целом книга де Сталь оценивалась им весьма высоко в силу ее общей антидеспотической направленности: «Она живо представляет ненависть деспотизма и прелесть свободы и просвещения. То, что она говорит о России, – вздор, и я об этом жалею»⁸⁷.

Между тем де Сталь ставила довольно серьезный вопрос: кто может представлять нацию, состоящую только из рабов и аристократов? Этот вопрос неоднократно обсуждался декабристами, и в ходе дискуссий высказывались различные мнения.

М.А. Дмитриев-Мамонов и М.Ф. Орлов в 1815 г. считали, что власть императора должна быть ограничена сенатом, состоящим из «200 наследственных перов (Pairs), магнатов или вельмож государства, из 400 представителей дворянства и 400 представителей народа»⁸⁸. При этом крепостное право не отменялось, а должно было использоваться как средство в борьбе за ограничение самодержавия⁸⁹.

Крупнопоместная аристократия, опираясь на своих крепостных, явилась бы естественной преградой произволу царской власти. Поэтому минимальная часть нации должна была быть максимально представлена в сенате, а поскольку предполагалось, что аристократ выражает не только свои личные интересы, но и интересы своих крепостных, то оказывалось, что лишь аристократия является *настоящим* представителем нации.

Эти проекты вызвали несогласие Н.И. Тургенева. Он считал, что нацию должны представлять не крепостники, а, наоборот, те люди, которые активнее всего способствуют уничтожению крепостного права. В 1816 г. он так же, как Дмитриев-Мамонов и Орлов, высказался за создание института пэрства. Но только если Мамонов предлагал его «создать искусственно посредством “дарования” двумстам вельможам государства “уделов городами и поместьями” в наследственную собственность»⁹⁰, то Тургенев предлагал прямо противоположное.

19 октября 1816 г. он записал в дневнике: «...предоставить богатым дворянам приобрести права Перов освобождением своих крестьян. Какую прекрасную славу русские вельможи сим заслужить могут! Чрез то богатые люди соединятся с Правительством для достижения великой цели общего освобождения. <...> В особенности не нужно терять *ни мало* самодержавной власти прежде уничтожения рабства. Перы не ограничат, но усилят ее»⁹¹.

Взгляды Н.И. Тургенева полностью разделял его младший брат С.И. Тургенев. «Права конституционные – хорошее дело, – писал он, – но можно ли все получить вместе? Не торопи-

тес, дайте хоть рабство уничтожить, и это будет большой шаг, а там увидим, нельзя ли будет идти далее»⁹².

При этом С.И. Тургенев в 1817 г. считал, что в России представительное правление может быть введено без существенного ограничения самодержавия уже «dès aujourd'hui»⁹³. В качестве представительных органов назначались Государственный совет и Верховный совет. В Государственный совет должны входить депутаты, представляющие неслужащее дворянство от различных губерний, включая Сибирь и Прибалтику. Что касается купцов, фабрикантов и мещан, то они тоже будут представлены, но не от губерний, а от сословия или гильдий. Верховный совет будет состоять главным образом из глав администраций (*chefs d'administration*), к которым император может добавлять, кого захочет. Обе палаты будут иметь только совещательный характер (*délibérer*). Первая кроме того сможет вносить предложения и протесты либо в правительство, либо в Верховный совет. Министры будут ответственны перед Верховным советом.

По мысли С.И. Тургенева, эта система представительства преследует не только политическую, но главным образом пропагандистскую цель, это своего рода «un foyer de lumières», прививающий массам «habitudes libérales»⁹⁴. Характерно, что главное препятствие на пути введения подобного представительства Тургенев видит не в Александре I, а в губернаторах, которые будут саботировать выборы. Более того, вся его надежда на то, что «l'Empereur vivra encore 20 ans au moins. La vie active et modérée, la bonne constitution de son corps et l'excellente santé dont il jouit ordinairement le lui présagent. Après 20 ans il serait difficile à extirper des rasines qui pousseraient si profondément»⁹⁵.

Главный недостаток политической жизни России Тургенев видит в «le manqué d'estime pour les loix»⁹⁶. Этот недостаток можно исправить только через уважение людей, облеченных властью. Выборная система, а также ответственность министров перед Верховным советом помогут это сделать.

Дискуссии в Верховном совете должны носить публичный характер и получать отражение в прессе. Правда, С.И. Тургенев оговаривается, что публичность может иметь место лишь в том случае, если Верховный совет сам сочтет это нужным⁹⁷.

План С.И. Тургенева, как видим, не затрагивает ни самодержавного строя, ни проблемы крепостного права, так как предполагается, что оба эти вопроса связаны между собой, и только царь, в руках которого сосредоточена неограниченная власть, может своей волей освободить крестьян.

Для декабристов это было, безусловно, наиболее приемлемым, но не единственно возможным путем решения крестьянского вопроса. Был еще путь военной революции. В идеологическом плане этот путь предполагал использование европейского революционного опыта, что значительно понижало удельный вес либеральных идей в идеологии декабристов и соответственно увеличивало воздействие на них более радикальной просветительской мысли.

Особенно ярко просветительский «миф» проявился в идеологии П.И. Пестеля. Пестель, разумеется, не был последовательным просветителем, хотя бы уже в силу того, что он был членом тайного общества, не признавал за народом права на вооруженное восстание против деспотизма и т. д. Но в отличие от большинства декабристов, мечтавших о конституционном строе для России, Пестель, хотя и не был принципиальным противником конституции, тем не менее вынашивал идею демократической диктатуры, и в этом отношении он был близок к Руссо, считавшему народ источником любой власти и ставившему идею народа выше идеи законности. Пестель с недоверием относился к современным ему конституционным монархиям Англии и Франции, полагая, что их конституции «суть одни только покрывала» (IV, 91). Им он противопоставлял античное и древнерусское прямое народоправство, обходящееся без конституции.

В национальном проекте Пестеля пересеклись две различные культурные традиции: романтическая идея национальной самобытности и просветительский «миф» о единстве человеческой природы. Просветители считали, что природа человека всегда и везде одинакова. Все различия между людьми, в том числе и национальные, они относили к числу предрассудков. Беря за основу нового государства русскую национально-культурную традицию (отказ от заимствованных слов, национальный костюм, перенос столицы в Нижний Новгород или во Владимир и т. д.), Пестель в действительности воплощал не идею культурного возрождения, а преследовал, по сути, чуждую ей цель унификации. В этом смысле, как и просветители, он исходит не из исторического опыта, а из идеи Разума. В отличие от романтиков, усматривавших в национальных традициях некий мистический смысл, Пестель строил свой национальный проект на сугубо рационалистической основе. Его обращение к традициям носило исключительно формальный характер.

Традиции по самой своей природе амбивалентны. С одной стороны, они связывают человека с Домом, национальной историей и всем тем, в чем, по словам Пушкина, «обретает сердце пищу», но с другой стороны, они несут в себе накопленный веками груз предрассудков, часто препятствующих проникновению в жизнь рациональных начал. Пестель, как ему, видимо, казалось, нашел соломоново решение. Революция должна была покончить с национальными предрассудками и на их месте заложить основы новых традиций, сохраняющих, однако, связь с национальными корнями.

В своих преобразовательных проектах Пестель выступал не как русификатор, а как рационализатор. Поэтому его национальная политика, предусматривающая слияние всех народов, населяющих Россию, в единый народ, предполагала создание нового народа как материала для рационально устроенного государства. Предлагаемая им с этой целью единая культурная основа, отдаленно напоминающая древнерусские традиции, в действительности не имела с ними ничего общего⁹⁸.

* * *

Основные расхождения между декабристами и французскими либералами были predeterminedены различным уровнем социально-политического развития России и Франции.

Для России, еще не пережившей революции, идеи борьбы с революционным наследием были не столь актуальны, как для Европы. Для русских либералов на первом месте стояли идеи общенародной свободы, а деспотизм ассоциировался в первую очередь с правительственной реакцией. Французский либерализм, сформировавшийся в послереволюционные годы, был своего рода реакцией на идею безграничного народного суверенитета, дискредитированную в годы якобинского террора.

В этом отношении декабристы отличались не только от французских либералов, но и от Александра I, пытавшегося либеральным внешнеполитическим курсом противостоять революционному наследию в Европе". В итоге правительственный либерализм был целиком «замешан» на общеевропейской ситуации и не имел под собой национальной почвы. Члены ранних декабристских организаций и царь, говоря на одном языке либеральных понятий, плохо понимали друг друга. Поэтому с самого начала надежды на реформы сверху сопровождались изрядной долей скепсиса, а поэтому с самого начала попытки содействовать правительству приобрели оппозиционный характер. Особенно наглядно это проявилось в отношении Польши.

* * *

По дороге на конгресс в Вену из России в сентябре 1814 г. Александр I посетил имение князей Чарторыйских Пулавы. Это был уже второй визит царя в имение к своему другу юности Адаму Чарторыйскому. Первый состоялся ровно девять лет назад, в сентябре 1805 г. Тогда Александр I, отправляясь в армию, посетил замок в Пулавах в знак не только особого расположения к Чарторыйскому, тогдашнему министру иностранных дел, но и одобрения его внешнеполитического курса, направленного на войну с Пруссией и восстановление Польши. «В замке этом осенью 1805 года, – пишет Марк Алданов, – произошло событие, которое может быть признано высшей точкой дружбы в многовековой истории польско-русских отношений. <...> Эти дни были апогеем славы, влияния и счастья князя Адама Чарторыйского. Все знали, что план воссоздания Польши принадлежит ему и держится на нем одном. Предполагалось, что после победы сначала над Пруссией, потом над Наполеоном все польские земли будут объединены: Александр Павлович должен был стать польским королем. Князь Адам мог, вероятно, претендовать на пост наместника»¹⁰⁰.

Тогда этому не суждено было осуществиться. Аустерлиц, Тильзит, образование Великого герцогства Варшавского спутали все карты русскому царю и его, теперь уже бывшему, министру. Победа над Наполеоном сполна искупила всю горечь этих неудач. И теперь, оправляясь в Вену, Александр своим посещением Пулав как бы вычеркивал из памяти все эти годы тяжелых и унижительных неудач. Он любил щеголять поистине царским великодушием, и поляки, недавние союзники Наполеона в войне с Россией, оказавшись в положении поверженных врагов, предоставляли русскому императору возможность в очередной раз продемонстрировать величие его души.

Остановка в Пулавах по пути в Вену, где польский вопрос должен был стать одним из основных и вызвать столкновение интересов ведущих стран, имела, конечно, знаковый характер. Разумеется, не личная привязанность к Адаму Чарторыйскому влекла Александра в эти места.

Пулавский замок, расположенный в польских землях, принадлежавших Австрийской империи, с того времени, как там поселились в 1782 г. князья Чарторыйские, Адам-Казимир и Изабелла, родители друга юности Александра I Адама, стал своеобразным ступнем польской национальной истории. Роскошная природа (замок, расположенный на берегу Вислы среди великолепных садов и парков), редкая коллекция таких национальных реликвий, как сабля Владислава Локотка, череп Яна Кохановского, прах Николая Коперника, знамя королевы Ядвиги и т. д., все это было овеяно духом польской независимости и надеждами на возрождение. Не случайно эти реликвии хранились в специально выстроенном храме Сивиллы, украшенном надписью: «Прошлое – будущему»¹⁰¹. По просьбе Изабеллы Чарторыйской и с ее слов Жак Делиль описал это место в поэме «Сады»:

Как не упомянуть богатое убранство
Пулав, где служит все огромное пространство
Гористой местности с изломами вершин,
С лесами темными, просветами долин
И хижинами сел, рассыпанных на склонах,
С квадратами полей, то желтых, то зеленых, —
Лишь рамкой для дворца? – Величественный вид!
Там правил Казимир. Там дух его царит¹⁰².

Предшествующие царскому посещению события: объявление всеобщей амнистии полякам в Вильно после изгнания Наполеона из России и в других польских городах после их взятия, разрешение носить национальную кокарду, письмо к Т. Костюшко и даже разрешение устроить наполеоновскому маршалу Ю. Понятовскому, погибшему во время Лейпцигского сражения, торжественные похороны – все недвусмысленно свидетельствовало о намерениях Александра относительно Польши.

Перипетии решения польского вопроса на Венском конгрессе хорошо известны¹⁰³. Александр проявил в этом столько же упрямства, сколько и великодушия. Однако исследователи за описанием внешних событий, как правило, не останавливаются на внутренних причинах, по которым царь так настойчиво добивался восстановления Царства Польского.

Дело, разумеется, было не в простом желании казаться великодушным. К тому же Александр прекрасно понимал, что если не восстановить Польшу в прежних границах, до первого раздела, то поляки вряд ли смогут в полной мере оценить царскую милость к ним. А столь радикальное решение польского вопроса в 1814–1815 гг. было совершенно нереально. Австрия, Англия и особенно Пруссия с большим сопротивлением и под огромным личным давлением Александра I вынуждены были согласиться на преобразование герцогства Варшавского в Царство Польское, соединенное с Россией единым порядком престолонаследия. Польша объявлялась конституционной монархией, Александр I – конституционным королем. Этот момент был наиболее тяжелым в переговорах о Польше на Венском конгрессе. Австрии и Пруссии намного проще было бы согласиться на присоединение герцогства Варшавского к России, чем на введение в Польше конституционного строя.

Но именно этого добивался Александр. Польша для него была пробным камнем для осуществления новой европейской политики. В новой Европе русский царь претендовал на такую же роль, какую до этого играл Наполеон. При этом свою политику он строил как антитезу наполеоновским принципам правления. Деспотизму Бонапарта он стремился противопоставить либерализм, хищническим захватам территорий – соблюдение принципов национального суверенитета и откровенному цинизму международных принципов – христианские братолюбивые идеи Священного союза.

К тому же Александру I, воспитанному Лагарпом, очень хотелось попробовать себя в роли конституционного монарха. Но, как и его учитель, русский царь не верил в готовность России к немедленному введению конституции. Либерализм для него прочно ассоциировался с европеизмом, а Россия – с восточным деспотизмом. Поэтому дать конституцию полякам для него было столь же естественно, как и навязать России Аракчеева, по принципу «каждому свое».

Видимо, не случайно, находясь в Пулавах и обдумывая польскую проблему, решение по которой предстояло принять в Вене, царь вспомнил об Аракчееве. Историки по-разному объясняли этот факт. Шильдер, полагая, что царь уже тогда находился под влиянием Аракчеева и собирался вернуть ему управление страной¹⁰⁴, видел в этом очередное подтверждение своей мысли: «Император Александр даже в Пулавах вспомнил графа Аракчеева, находившегося в то время в своем любезном Грузине, и не упустил случая обрадовать его следующими дружескими строками, написанными 6-го (18-го) сентября перед отъездом: “Благодарю тебя, любезный Алексей Андреевич, за твои желания от 5-го числа; ты знаешь, сколь искренно я тебя люблю. Сейчас еду далее”»¹⁰⁵.

По-другому этот факт интерпретировал великий князь Николай Михайлович: «Недоумеем, что было особенного в том, что в Пулавах Император вспомнил приятеля и ответил ему двумя словами на поздравление с днем Ангела Государыни Елисаветы Алексеевны (5 сентября). Смеем высказать как раз обратное мнение, а именно, что Аракчеева Государь не взял

с собой на конгресс, как элемент, ему там не нужный, и что это было сделано не случайно, а потому, что Александр считал его присутствие более полезным в России»¹⁰⁶.

Оба историка по-своему правы, особенно если учесть, что для Александра I внешняя и внутренняя политика были совершенно отдельными сферами. Они столь же различались в сознании царя, как различались Европа и Россия. Аракчеев действительно не нужен был либеральному царю в Европе, но он был совершенно необходим в России, на которую либеральные принципы не распространялись. Вспомнив в Пулавах о «любезном Алексее Андреевиче», Александр тем самым обнаруживал не только представлявшуюся ему невозможность конституционных преобразований в России, но и стремление остановить по мере сил неконтролируемое проникновение в нее либеральных идей из Европы.

Однако речь шла не о борьбе с либерализмом как таковым, что было бы по меньшей степени странным для либерально настроенного царя, а лишь о переносе либеральных преобразований в России на неопределенный срок. Александра занимала главным образом Европа, последовательная либерализация которой должна была предохранить ее от новых революций. Польша, по его замыслу, должна была стать, с одной стороны, полигоном для испытания конституционного строя, а с другой – гарантом того, что русский царь, он же польский король, привержен общеевропейским либеральным ценностям. Этого не понимали ни те, для которых либералы и якобинцы были одним и тем же, ни те, для которых либеральные идеи окрашивались в патриотические тона.

Н.И. Греч очень точно охарактеризовал ту ситуацию, с которой Александр столкнулся при решении польского вопроса в Европе и в России. «В Александре проснулись либеральные идеи, очаровавшие начало его царствования. В 1814 году он побудил Людовика XVIII дать французам хартии, а на Венском конгрессе хлопотал он о даровании германским державам представительного образа правления. В Вене окружили его поляки, Чарторыйский, Костюшко, Огинский и другие, напомнили ему прежние его обещания и исторгли у него честное слово, что он употребит все свои силы, чтоб восстановить Польшу и дать ей конституцию. Европа видела в этом требовании замыслы властолюбия и распространения пределов и увеличения сил России. Австрия и Пруссия опасались влияния этой конституции на свои польские области. Англия и Франция не хотели, чтобы Россия въехала клином в Европу. Все русские министры восстали против этого, даже бывшие в ее службе иностранцы Штейн, Каподистрия и Поццо ди Борго. Нессельрод впал было в немилость государеву; употреблен был дипломат писарь Анштет, которому все было нипочем, лишь бы он мог есть страсбургские паштеты. Иностранцы, особенно австрийцы и пруссаки, соглашались и на присоединение Варшавского герцогства к России, только бы в нем не было представительного правления. Александр настоял на своем и, получив герцогство с небольшими уступками соседям, назвал его королевством в Европе и царством в России. Поляки негодовали на это наименование тем более, что полный титул “Царь Польский” поставлен был после “Сибирского”. Русские были огорчены дарованием исконным врагам нашим прав, которых мы сами не имели. Награждены были люди, лезшие на стены Смоленска и грабившие Москву, а защитники России, верные сыны ее, оставлены были без внимания, им заплатили варяго-русскими манифестами Шишкова»¹⁰⁷.

Пожалуй, единственную среду в европейской общественно-политической жизни, приветствовавшую александровское решение польского вопроса, составили либералы, в первую очередь французские.

* * *

После России судьбы Польши не переплетались так тесно ни с какой другой страной, как с Францией. Многие поляки после третьего раздела Речи Посполитой в 1794 г. нашли убежище

в революционной Франции, польские легионы сражались под наполеоновскими знаменами на всем протяжении европейского континента от Сарагосы до Москвы. Наполеоновский культ еще долго будет будоражить умы польских патриотов. Со своей стороны французы видели в поляках союзников, разделивших их военную славу. Поэтому интерес к польской проблеме во французском обществе был не случаен. Либералы, у которых осуждение наполеоновского деспотизма соединялось с преклонением перед наполеоновской славой, относились с явной симпатией к поверженной Польше и естественным образом поддерживали либеральную политику Александра I по отношению к ней, тем более что та во многом питалась их же идеями.

Бенжамен Констан отмечал, что «император Александр более свободен в отношении устройства, которое он дает Польше, потому что земля, покрытая руинами, представляет собой для архитектора новую землю, утешает ее введением конституции и восстановлением многих политических прав»¹⁰⁸.

Более определенно на этот счет высказался Лезюр. Для него восстановление Польши, «такое быстрое и такое мирное, было не последним чудом в столетии, обильном на чудеса»¹⁰⁹. «Если внимательно размышлять над прошедшими и настоящими обстоятельствами, – писал он в другом своем труде, – то можно понять, что восстановление Польши было почти невозможным на тот манер, каким оно было осуществлено. То, что хорошо в одно время, не годится в другое. Пятнадцать лет брожения, перемен и невзгод охладили надежды и патриотизм поляков. Отныне для них важен был только покой. И то, чего они не могли достичь никакой политической комбинацией, возможной в настоящий момент, они нашли в личном характере государя».

Этот аспект вселял и надежду, и тревогу одновременно. Надеялись на то, что Александр будет последователен в своих либеральных стремлениях, и опасались того, что он действовал вопреки неблагоприятным внешним обстоятельствам, которые в будущем могли обернуться новой бедой. «Но, впрочем, – замечал с некоторым оптимизмом Лезюр, – по каким признакам можно судить о будущем?»¹¹⁰

Таким образом, польская проблема неразрывно связывалась с положением дел внутри самой России. При всей ее значительности как таковой французским либералам хотелось видеть в этом лишь аванс на дальнейшие конституционные преобразования в России. Наиболее ярко это проявилось в публикации письма о России на страницах либерального журнала «*Mercur de France*». Автор, по всей видимости, был поляк, но читатель, уведомленный о том, что письмо пришло из С.-Петербурга, должен был считать, что автор русский. Этот документ, любопытный во многих отношениях, не привлекал к себе внимание специалистов.

Его происхождение неизвестно. Вполне вероятно, что оно было сочинено самими сотрудниками журнала или заказано ими кому-нибудь из поляков¹¹¹. Во всяком случае С.И. Турганев, прочитав его в Париже, видимо, имел основания сомневаться в его подлинности, о чем свидетельствует его дневниковая запись от 18/30 июня 1819 г.: «Минерва напечатала превздорное письмо из С[анкт]-Петербурга. Я было заготовил ответ¹¹², но не напечатаю, сколько потому что того ни письмо ни ответ не стоит, столько и опасаясь наших дипломатов, которые могли бы прогневаться. Жуй дал мне честное слово, что письмо было прислано из Петербурга и сочинено русским и поляком, а Этьеном только убавлено и поправлено»¹¹³.

Письмо это интересно тем, что оно отражает точку зрения французских либералов, в частности партии «независимых», на положение Польши и политику Александра I. Мы видели, что либерализм Александра в 1814–1815 гг. внушал французским либералам надежды, и конституция, данная восстановленной Польше, эти надежды, казалось, оправдывала. Также вполне естественно выглядело и то, что царь не спешил с введением представительного правления в России, где сначала надо было подготовить народ. Но к 1819 г. фиктивность польской конституции стала вполне очевидной, и французские либералы не могли этого не заметить.

Данное письмо, как представляется, свидетельствует о новом взгляде авторов «Минервы» на польскую проблему. За внешней похвалой Александру I звучат тревожные ноты по поводу того, что Россия в действительности является не гарантом польской свободы, а ее душителем. Введение в польских войсках дисциплины русской армии, которая «приводит польского офицера в отчаяние», может служить моделью взаимоотношения России и Польши. Противопоставление Александра I как человека, *практически* осуществляющего либеральную политику, другим монархам, нарушающим обещания, «которые они дали своим народам», а также утверждение, что русский царь «в момент выполняет обещания», в 1819 г. не могло восприниматься иначе, как почти откровенное издевательство.

* * *

Одним из тревожных симптомов фиктивности польской конституции явился указ от 22 мая 1819 г., подписанный наместником Польши генералом Ю. Зайончеком, о приостановке действия 16-й статьи конституции, гарантирующей свободу печати. Основанием для этого послужил рескрипт Александра I от 23 августа / 4 сентября 1818 г., в котором было высказано пожелание, чтобы цензура в Польше была сохранена до тех пор, пока опыт других стран покажет, можно ли ее отменить без ущерба для общественного спокойствия¹¹⁴.

Находившийся в то время в Варшаве П.А. Вяземский писал А.И. Тургеневу: «Здесь всякий день наносят важные оскорбления конституции»; «Крепость конституции, по силе конституции крепчайшей, отбрита порядком, и того смотри, что совсем ей лоб забреют». Эти наблюдения приводили Вяземского к безрадостному выводу: «... конечно, конституционные сени в деспотических казармах – уродство в искусстве зодческом, и поляки это очень чувствуют. Нам от их сеней не тепло, но им от наших казарм очень холодно». Вяземский, не скрывая своих польских симпатий, выражал резкое неприятие действий русского правительства в отношении к Польше: «Я бешусь, как будто бы польская кровь течет в моих жилах, как будто я не повит под звуком желез и кнутов и не под дурацкими шапками возлелеян! Кажется, можно бы ко всему привыкнуть! Нет, кровь и вчуже так и клокочет!»¹¹⁵

На польские дела Вяземский смотрел со стороны Европы. Его позиция в этом вопросе – это позиция западноевропейских либералов, свободная от тех реверансов, которые последние делали в адрес Александра I за его приверженность к либеральным принципам в 1814–1815 гг. Вопрос о польской конституции, по его мнению, должен иметь самоценное значение, не зависящее от того, является свободным русский народ или нет. То, что в действительности происходит не так и Польша не может *реально* обрести свободу, прежде чем ее обретет Россия, для Вяземского является лишь досадным обстоятельством: «Не быть им свободными, – писал он М.Ф. Орлову, – пока мы будем в цепях; не царствовать у них законам, пока у нас Божиею милостью будет царствовать самовластие. В этом отношении еще более, чем в прочих, желаю им успехов на поприще свободы законной. Сам самовластный император задушит царя конституционного...»¹¹⁶

Позиция Вяземского, либеральная по сути, могла показаться непатриотичной. Она была лишена того, что позже Н.И. Тургенев применительно к М.Ф. Орлову назовет «патриотизмом раба», имея в виду реакцию последнего в 1815 г. на восстановление Польши. «Государь изволил отправиться в Вену, – писал Орлов в следственных показаниях, – и вскоре разнеслись слухи о восстановлении Польши. Сия весть горестно меня поразила, ибо я всегда почитал, что сие восстановление будет истинным несчастьем для России. Я тогда же написал почтительное, но, по моему мнению, довольно сильное письмо к его императорскому величеству. Но сие письмо, известное генералу-адъютанту Васильчикову, у меня пропало еще не совсем доконченным, и сведение об оном, дошедши до государя, он долго изволил на меня гневаться»¹¹⁷.

И хотя Орлов с оптимизмом встретил варшавскую речь Александра в 1818 г.¹¹⁸, в целом его позиция по польскому вопросу существенно не изменилась.

Спустя годы после польского восстания 1830–1831 гг., когда страсти улеглись, опальный декабрист снова вернулся к этой проблеме. Французский взгляд на польские дела представляется Орлову абсолютно неприемлемым: «Они <т. е. французы> отказывают своим кавалерам почетного легиона в пенсиях в несколько тысяч франков, но никак не хотят понять, что у России гораздо более прав и разумных причин упорствовать в ее отказах на требования Польши». Политику Александра по отношению к Польше он оценил довольно парадоксально: «Со стороны императора Александра это было вопросом справедливости и сентиментальной политики: в этом великая его ошибка, источник стольких бедствий». Политика справедливая и ошибочная одновременно. Орлов, придерживаясь права народного суверенитета, считает, что оно не должно было распространяться на уничтоженную тремя разделами Польшу. Консервативному по своей сути праву Александр в данном случае придал революционный характер. Возрождение Польши вместо ожидаемой царем благодарности повлекло за собой лавинообразный рост претензий. В результате «он посеял ветры, а преемник его пожинал бурю».

Орлов считает, что «милосердие прекрасно в человеке, взятом отдельно, но милостыня может наделать много зла целому обществу. Прощение обид само по себе превосходно, но оно несовместимо с интересами народов. Презрение к богатствам – философически-разумно в человеке частном, но оно бессмысленно в муже государственном. Восстановление Польши могло быть прекрасным движением души Александра; но в смысле политическом – это была огромная ошибка. Венский конгресс, созданный по желанию России, должен был, по-видимому, стать могилою притязаний польских, подобно тому, как Вестфальский мир был могилою притязаний других государств»¹¹⁹.

Полагая, что восстановление Польши – результат воздействия на Александра польского тайного общества, Орлов, по его собственному признанию, «вознамерился <...> противопоставить польскому – русское тайное общество»¹²⁰. Одновременно он пытался заявить письменный протест Александру I.

Спустя много лет эту попытку Орлова прокомментировал Н.И. Тургенев в «России и русских»: «Дурные страсти всегда сильнее любви к добру и истине в сердце человека, свободный ли он или раб. Так, генерал Орлов составил против учреждений, которые Александр только что даровал Польше, своего рода протест и собирался его представить императору. Он хотел также заполучить подписи многих генералов и других важных персон, которых он для этого наметил. Но этот протест стал известен императору раньше, чем мог быть ему представлен. Усилия генерала были парализованы, и его попытка не имела продолжения. Когда я узнал об этом, я не преминул упрекнуть его в узком патриотизме, патриотизме раба, которым был продиктован ему этот протест. Он имел благородство признать, что я был не совсем уж не прав».

«Что касается меня, – продолжает Тургенев, – не разделявшего мнений врагов любой конституции, то я тем более не был среди тех, кто видел в конституционной Польше упрек и унижение рабской России. Я радовался тому, что в мире одной конституцией больше, если можно сказать, что она действительно имела место в королевстве»¹²¹.

Слишком большая временная дистанция отделяет написание этих строк от описываемых событий. За почти тридцатилетний период взгляды Тургенева, в том числе и на Польшу, претерпели существенные изменения. Автор «России и русских» очень точно, как видим, излагает отношение М.Ф. Орлова к польской проблеме. Однако невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, действительно ли Тургенев упрекнул Орлова в рабском характере его патриотизма, или это была ретроспективная оценка. Во всяком случае, при источниковедческом анализе этого высказывания следует иметь в виду, что когда книга Тургенева увидела свет, Орлова уже не было в живых.

Если же обратиться к дневникам Н.И. Тургенева за 1812–1821 гг., то картина его взглядов предстанет в совершенно ином виде. Как и большинство русских, Н.И. Тургенев не мог простить полякам их участие в наполеоновских войнах на стороне Франции. В 1812 г. он записал в дневнике: «Обольщенный пустыми надеждами, издревле безрассудный народ польский соединился с Французским императором и за тщетное название Варшавского герцогства жертвовал тысячами своих единокровных на поражение испанцев, народа, который никогда не был и не мог ему быть опасным; и сие для того, чтобы умножить собою число несчастных народов, подпавших под иго Наполеона. При настоящей войне народ сей мнил достигнуть предполагаемой им цели и, совокупившись воедино, соделался подданным, или, как это у них называется, союзником Франции. Но Провидение бдит и над заблужденными; и Польша никогда не достигнет желаемого ею себе несчастья»¹²².

Неприязнь к полякам, обусловленная патриотическим подъемом, оправдывала в глазах Тургенева действия Екатерины II по разделу Польши. В 1817 г. он писал в дневнике: «Уничтожение Польши составляет в истории возвышения и образования России *das Gegenstück* завоеванию Остзейских провинций. Польша в недавнем ее существовании была бы всегда стеною, отделяющею нас от Европы с сей стороны, и грязным источником, из которого бы текла в Россию безнравственность и подлость дворянства польского и ненависть или презрение к конституционным государствам. Народ или публика судит по первым впечатлениям; первые же впечатления, поражающая обыкновенных людей при виде Польши, были бы конституция и беспорядки, своеволие и рабство. Итак, мир и слава праху Великой, изгладившей с лица земли государство, которое было бы вечною преподною славе, могуществу и просвещению России!»¹²³

Дело было не только в нелюбви к полякам, но и в том, что восстановление Польши отдаляло Россию от Европы. Тургенев разделял точку зрения тех, кто считал, что независимость Польши не только не будет способствовать проведению реформ в России, но и затруднит процесс либерализации. Эту мысль, в частности, высказал К.О. Поццо ди Борго в «Записке, представленной императору Александру» на Венском конгрессе. В качестве одного из аргументов против восстановления Польши он приводил то, что «...задержка, которую это отделение может вызвать в развитии нравственных способностей, образования, просвещения, искусства и либеральных идей, несоизмерима»¹²⁴.

Непосредственный начальник Н.И. Тургенева во время его заграничной службы барон Г.-Ф.-К. Штейн, мнение которого для Тургенева всегда имело большое значение, также был против восстановления Польши¹²⁵.

Варшавская речь Александра I вызвала у Н.И. Тургенева, как и у Орлова, некоторый оптимизм, омраченный, правда, тем обстоятельством, что «чистейшая вода, проходя через нечистые водопроводы, делается невкусною. Что если свобода придет в Россию через Польшу»¹²⁶.

Таким образом, Польша стала тем краеугольным камнем для декабристов, на котором столкнулись патриотизм, порожденный войной 1812 г., и либерализм, почерпнутый во Франции. Эмоциональный накал многих членов ранних тайных обществ в первые послевоенные годы был сильнее их способности трезво анализировать происходящие события. На поляков смотрели как на врагов, поэтому все действия, или, точнее, благие намерения, Александра I по отношению к Польше воспринимались как национальная измена. Суть подобного рода эмоций была проста: Польша не должна получить конституцию раньше, чем ее получит Россия¹²⁷. Тем более возмутительными казались намерения Александра I присоединить к Польше западные губернии.

Польская проблема как снежный ком обрастала всевозможными слухами и предположениями. Особенно урожайным в этом отношении был 1817 г. И.Д. Якушкин показал на

следствии: «В 1817-м году, кажется в октябре месяце, которого числа, не помню; но прежде прибытия покойного Государя Императора в Москву, был я вместе с другими сочленами приглашен на особенное совещание, назначенное по случаю чрезвычайных известий, полученных из Петербурга. На сем совещании один из членов сообщил другим письмо, содержание которого до сих пор, со всем моим старанием, точно припомнить я не мог, но вообще, если не ошибаюсь, то оно заключало в себе извещение, что будто бы покойный Государь Император, дав конституцию Польше, учредив отдельный Литовский Корпус, присоединяя польско-русские губернии к Царству Польскому, старается сим привлечь к себе привязанность поляков, дабы иметь в них верную опору в случае сопротивления в России угнетением, угрожающим ей при учреждении военных поселений и прочие» (III, 52).

Польский вопрос связывался не только с учреждением военных поселений, но и с проектом отмены крепостного права. Об этом ясно говорится в «Записках» С.П. Трубецкого: «Между тем император Александр приступил к исполнению двух своих мыслей: 1. Был составлен проект для освобождения крестьян Эстляндской губернии, и явно начали говорить, что он намерен дать свободу всем крестьянам помещичьим. 2. Другой проект, переданный графу Аракчееву, был об учреждении военных поселений, из которого мы поняли слова благодарного манифеста императора по окончании войны с французами, где он в награду войску обещал *оседлость*»¹²⁸.

Любопытно, что в 1817 г. обеспокоенность членов Тайного общества вызвал не проект создания военных поселений, в котором видели на первых порах всего лишь исполнение обещания, а проект освобождения крестьян. Быть противником крепостного права и сторонником его немедленной отмены – не одно и то же. Воспоминания Трубецкого свидетельствуют, что даже среди членов Тайного общества не было единого мнения в вопросе о готовности России к немедленному искоренению рабства. Поэтому в условиях отсутствия гласности допускались самые негативные последствия освобождения крестьян. В частности, и то, что «если помещики будут упорствовать и не согласятся добровольно на освобождение, то крестьяне могут вырвать у них свободу, и тогда Отечество может стать на краю бездны»¹²⁹.

Это в свою очередь породило слух, что Александр I перед отъездом из Петербурга в Москву в 1817 г. якобы сказал своему адъютанту князю П.П. Лопухину, члену Союза спасения: «Если дворяне будут противиться, я уеду со всей своей фамилией в Варшаву и оттуда пришлю указ». Реакция декабристов на эти царские слова была моментальной: «В первую минуту мысль о том, каким ужасам безначалия могла подвергнуться Россия от такого поступка, так сильно поразила одного из членов, что он выразил готовность, если бы государь показал себя таким врагом Отечества, то он чувствует в себе довольно духа, чтоб принести его в жертву, не щадя собственной жизни»¹³⁰.

С.П. Трубецкой имел в виду Якушкина, в воспоминаниях которого читаем: «Александр Муравьев прочел нам только что полученное письмо от Трубецкого, в котором он извещал всех нас о петербургских слухах: во-первых, что царь влюблен в Польшу, которой он только что дал конституцию и которую почитал несравненно образованнее России, он смотрел на нее как на часть Европы; во-вторых, что он ненавидит Россию, и это было вероятно после всех его действий в России с 15-го года; в-третьих, что он намеревается отторгнуть некоторые земли от России и присоединить их к Польше, и это было вероятно; наконец, что он, ненавидя и презирая Россию, намерен перенести столицу свою в Варшаву. Это могло показаться невероятным, но после всего невероятного, совершаемого русским царем в России, можно было поверить и последнему известию, особенно при нашем в эту минуту раздраженном воображении»¹³¹. Как известно, Якушкин тут же вызвался убить царя.

Любовь к Отечеству явно заглушала в русских либералах любовь к свободе. Позже М.С. Лунин очень точно подметит: «В России идея гражданской свободы – отвлечение; идея наци-

ональной независимости, нераздельности, распространения – чувства»¹³². Свобода, даруемая Польше, воспринималась как национальная измена, а свобода, получаемая из Польши, оказывалась просто ненужной.

Между тем польская проблема для декабристов имела огромное агитационное значение. С одной стороны, она позволяла разоблачать антинациональную внешнюю политику правительства, а с другой – пропагандировать конституционные идеи. «Ведь нельзя же было, – писал Д.И. Завалишин, – отказывать России в том, что было даровано Польше»¹³³.

Однако очень скоро обнаружилось, что свобода, дарованная Польше, имеет призрачный характер. По словам того же Завалишина, «пока абсолютизм существовал в России, все права в Польше были только мнимыми, как не имеющие никакой существенной гарантии»¹³⁴.

Переход декабристов от тактики пропаганды к тактике военного заговора на рубеже 1810-1820-х гг. по-новому поставил польскую проблему. До этого позиция декабристов по отношению к польской проблеме имела чисто негативный характер, т. е. исходила главным образом из того, чего не надо было делать. Теперь предстояло решить, что делать с Польшей после переворота.

Наиболее естественный в этом отношении путь подсказал П.А. Вяземский в уже цитированном письме к М.Ф. Орлову: «Как ни морщись, а подай искреннюю руку братства народу, с коим сродство наше уже непреложно; сродство благоденствия или бедствий, – одну чашу пить нам; не станем мутить ее друг другу и подкидывать яд»¹³⁵.

Внешняя история сношений декабристов с деятелями польских тайных обществ в 1824–1825 гг. изучена достаточно хорошо и к нашей проблеме не имеет прямого отношения¹³⁶. Отметим лишь, что вопреки оптимистическим утверждениям ряда советских историков о «революционном братстве русского и польского народов»¹³⁷ эти переговоры проходили в атмосфере взаимного недоверия и фактически окончились ничем¹³⁸.

Гораздо сложнее вопрос, каким виделось декабристам будущее Польши и как должны были складываться русско-польские отношения после уничтожения абсолютизма в России. Наиболее четкое и последовательное решение этот вопрос получил в «Русской правде» П.И. Пестеля.

В исследовательской литературе широко распространено мнение, что Пестель предоставлял полякам независимость. Так, например, П.Н. Ольшанский писал: «Таким образом вопрос о независимости Польши поставлен Пестелем ясно и категорично, дан четкий и определенный ответ: Польша должна снова стать независимым государством». И далее исследователь продолжает: «Пестель не ограничивался возвращением польскому народу национальной и государственной независимости. Он хотел, чтобы вынашиваемая декабристами идея установления республиканского строя была осуществлена не только в России, но чтобы этим благом пользовался и братский польский народ»¹³⁹.

Говоря иными словами, речь идет об экспорте революции из России в Польшу как условию ее независимости. Более точно эту мысль, как представляется, выразила М.В. Нечкина: «Он признавал за Польшей право отделения от России при обязательном условии одновременного с Россией восстания и революционных преобразований того же характера, какие произойдут и в России»¹⁴⁰. Таким образом, напрашивается вопрос: так что же все-таки – независимость или навязывание революции?

Обратимся к «Русской правде». Противопоставляя *право народности* (т. е. самостоятельного политического бытия) и *право благоудобства* (т. е. право больших государств подчинять себе соседние малые народы, не способные отстаивать свою независимость)¹⁴¹, Пестель считал, что «в отношении к Польше право народности должно по чистой справедливости брать верх над правом благоудобства». Но далее следует существенная оговорка: «Окончательное опре-

деление границ между Россиею и Польшею должно быть предоставлено правилу благоудобства для России и должно сие самостоятельное восстановление Польши устроено быть на таковых началах и условиях, которые бы в полной мере обеспечивали Россию на будущие времена на счет всяких действий, могущих быть противными твердой ее безопасности или совершенному ее спокойствию». За этим следуют условия, на которых Польше может быть предоставлена независимость:

«1.) Чтобы границы между Россиею и Польшею определены были Российским Правительством по правилу благоудобства для России и Польша бы сему определению границ ни в каком отношении не прекословила и приняла бы оное за неизменный Закон коренной.

2.) Чтобы возстановление Польского государства последовало не через собственное отторжение Польши от России, но через правильную сдачу Российским Временным Верховным Правлением губерний, предназначенных к отделению в состав

Польского государства, новому Польскому правительству: оставляя *все* в теперешнем положении до воспоследования сей сдачи, которая по утверждению всех условий немедленно исполнена быть имеет.

3.) Чтобы между Россиею и Польшею заключен был *тесный союз* на мирное и военное время; вследствие коего бы Польша обязалась все войско свое присоединять на случай войны к Российской Армии, дабы тем в полной мере доказать, что благодеяние, Россиею Польше оказываемое, сия последняя с должною признательностью принимает и чувства искренней дружбы и преданности к России питает и всегда питать будет. За то берет Россия Польшу под свое покровительство и служить будет ей ручательством в неприкосновенности ее пределов, а тем паче ее существования. Наконец.

4.) Так как сношения между государствами производятся чрез посредство их правительств и потому твердость и дух сих сношений преимущественно зависит от образования правительств, то чтобы вследствие сего само устройство польского государства служило России залогом и обеспечением; а потому и постановляются главными условиями сего устройства, без коих не должна Россия даровать Польше независимости, следующие три: А.) верховная власть должна быть устроена в Польше одинаковым образом, как и в России, на основании 6 главы Русской Правды. Б.) назначение и выбор всех лиц и чиновников во все правительственные и присутственные места должны происходить по тем же точно правилам в Польше, как и в России, на основании 4 и 9 глав Русской Правды и В.) всякая аристократия, хоть на богатствах и имуществах, хоть на привилегиях и правах родовых основанная, должна совершенно навсегда быть отвергнута и весь народ польский одно только сословие составлять на основании 4 главы Русской Правды.

На сих единственно условиях и началах может восстановление польского Государства последовать» (VII, 123–124). «Если же польский народ устранится от вышепомянутых условий, необходимых для дарования Польше независимаго существования и не будет к оным охотствоваться, то и вовсе не будет тогда государственной границы между Польшею и Россиею существовать, Польша останется тогда областью Российского Государства и Россия будет на сем пространстве сохранять теперешние свои границы с Австриею и Пруссиею» (VII, 125).

Предлагаемый Пестелем проект, как правило, истолковывался позднейшими историками в зависимости от их собственных представлений о непростом характере русско-польских отношений. Советские историки, как уже отмечалось выше, исходили из идей интернациональной помощи в деле осуществления революционных преобразований. Так, например, А.И. Бортников писал: «Пестель при решении польского вопроса исходил, конечно, из того факта, что польский народ, как показал исторический опыт, не мог примириться с потерей своей независимости, что национально-освободительное движение в Польше, все более усиливаясь, должно было стать союзником русского освободительного движения против царизма. Народу, завое-

вавшему для себя свободу, “свойственно” предоставить свободу также находящемуся под гнетом его правителей другому, борющемуся за свою свободу народу, – такова мысль Пестеля»¹⁴².

Совершенно другое понимание пестелевские идеи встретили у польского историка В. Яблоновского, считавшего, что Пестель «создавал для польского народа неволю, прикрытую видимостью свободы»¹⁴³.

Задача не в том, чтобы выяснить, кто из историков прав, а кто нет. В конечном итоге речь идет о различном понимании свободы, а не идей Пестеля, не допускающего мысли, «чтобы Польша устранилась от условий, не только России, но по содержанию своему несравненно еще более самой Польше полезных» (VII, 125). Постараемся взглянуть на проект Пестеля с точки зрения самого Пестеля.

Русско-польские отношения не имели и не могли иметь двусторонний характер. Со всей очевидностью это продемонстрировал Венский конгресс, где польская проблема стала камнем преткновения в отношениях всех союзных держав. Царство Польское, связанное с Россией единым способом престолонаследия, после революционного переворота и ликвидации русского престола автоматически получало бы полную независимость и становилось конституционным государством. Естественно, что Австрия и Пруссия не преминули бы воспользоваться внутренними затруднениями России, чтобы взять реванш за свое поражение в польском вопросе на Венском конгрессе. Это было бы сделать тем проще, если бы Россия стала претендовать на Царство Польское. Тогда под предлогом защиты его независимости вместе с поляками можно было бы осуществить интервенцию в Россию и задушить там революцию.

Поэтому предоставление независимости Польше для России диктовалось в первую очередь внешнеполитическими обстоятельствами. Есть основания полагать, что революционное правительство, в том виде, в каком его замышлял Пестель, попыталось бы осуществить превентивную экспансию в Западную Европу по примеру французского революционного правительства 1792 г. Предлогом послужил бы все тот же польский вопрос. По свидетельству члена польского тайного общества А.С. Гродецкого, «...россияне обнадеживали поляков о возвращении всех губерний, к их государству присвоенных, а равно возвращением с помощью их и остальных, Австрией и Пруссией владевших, обещая своим могуществом, чтобы составили отдельную нацию и чтобы им возвращены были отечественные их земли в таких пределах, как было до разделения Польши»¹⁴⁴.

Но здесь возникала новая проблема. В случае отторжения у Австрии и Пруссии польских земель и восстановления Польши Россия получала бы на своих границах сильное государство, имеющее к ней территориальные претензии. (Напомним, что вопрос о границах с Польшей на переговорах декабристов с поляками стоял весьма остро.) Таким образом, независимость Польши в итоге могла обратиться против России. Необходимо было найти такое решение польского вопроса, которое бы сочетало независимость Польши с ее лояльностью по отношению к России, т. е. речь должна была идти о формальной независимости государства, находящегося под протекторатом России. А это было возможно лишь при том условии, что в Польше произойдут социально-политические преобразования, аналогичные российским.

Фактически речь шла об экспорте революции, что позволило бы посадить в Польше марионеточное правительство, зависимое от русского революционного правительства. Нет никакой необходимости доказывать, что преобразования в Польше в том виде, как их замышлял Пестель, были совершенно неприемлемы для поляков. Даже беглого знакомства с польской историей достаточно, чтобы заметить, какую роль в Польше играла аристократия и какую бы реакцию вызвали попытки ее уничтожить. Кроме того, предполагалось уничтожение хартии, что вызвало бы возмущение всей либеральной Европы.

По своей сути планы Пестеля были реакцией на польскую политику Александра I. Александр, устанавливая различные формы правления для Польши и России, намеревался в даль-

нейшем через Польшу распространить конституционные свободы и на Россию. При этом царь всячески подчеркивал, что поляки обязаны своей свободой лично ему Судьба России, таким образом, оказывалась зависимой от того, насколько окажется удачным «либеральный» эксперимент, проводимый царем в Польше. При этом Александр имел дело исключительно с представителями польской аристократии. Польский народ во всем этом не принимал никакого участия. Личное начало в польских делах выходило на первый план и оказывалось важнее народного права самостоятельно решать свою судьбу.

Фактически же все происходило наоборот, не польский либеральный дух распространялся в Россию, а русский деспотизм душил Польшу руками Константина Павловича и Н.Н. Новосильцева. Либерализм не мог противостоять деспотизму. Это естественным образом приводило Пестеля к мыслям о его неэффективности и к стремлению действовать более радикальными средствами. Поэтому он лишал Польшу ее конституции и переносил на нее революционный образ правления, установленный в России. В духе демократизма XVIII в. он ставил вопрос о свободе польского народа *в целом*, а не о гарантии индивидуальных прав и свобод. Русский народ, завоевав свободу для себя, дарует ее «низверженному народу» Польши. При этом как бы само собой разумелось, что у русских и у поляков одинаковые представления о свободе. Это принципиально устраняло все индивидуальные различия как несущественные, как то, чем легко можно пренебречь.

Таким образом, стремясь подчинить Польшу русскому политическому влиянию, Пестель преследовал две цели. Во-первых, он как бы брал реванш за то оскорбление, которое, в представлении многих декабристов, Александр I нанес России, даровав Польше конституцию, а во-вторых, формально независимая Польша становилась буфером между Западной Европой и Россией и возможно даже плацдармом для осуществления экспансии революционной России в Европу.

Польша явилась пунктом наибольшего расхождения взглядов французских либералов и декабристов. Первые видели в восстановлении Польши как конституционного государства расширение либерального пространства в Европе. Представление о том, что освободительные идеи должны постепенно прокладывать себе путь с Запада на Восток, делало в их глазах совершенно естественным то, что Польша получает конституцию раньше России. Но именно этот факт, как мы видели, больше всего возмущал декабристов. Они считали, что Россия должна дать Польше свободу, а не наоборот. В их позиции довольно неорганично сталкивались патриотические чувства и либеральные идеи. Патриотизм декабристов еще не стал достаточно либеральным, а их либерализм – достаточно патриотичным¹⁴⁵. Органичное соединение того и другого произойдет значительно позже, в позиции М.С. Лунина.

Взгляд М.С. Лунина на польские дела в настоящее время представляется достаточно хорошо изученным¹⁴⁶. Однако исследователи главным образом фиксировали свое внимание на лунинской оценке польского восстания 1830–1831 гг. и почти не останавливались на отношении Лунина к восстановлению Польши в 1815 г. В значительной мере это объясняется отсутствием источников, относящихся к тому периоду. Делать же какие-то заключения на основании позднейших документов – дело крайне ненадежное. На примере Н.И. Тургенева мы видели, как кардинально менялись взгляды на польские дела на протяжении десятилетий. Тем не менее рискуем предположить, что взгляды Лунина не претерпели столь существенных перемен. Основанием для подобного предположения могут служить слова самого Лунина, писавшего в конце своего «Взгляда на польские дела» (1840): «Мы полагаем, что, сказав непритворную и беспощадную правду, выполним долг признательности перед народом, оказавшим нам гостеприимство в бурное время нашей политической деятельности. Мы вели те же речи при дворе его короля и в салонах его вельмож; но нас не поняли»¹⁴⁷.

Другим свидетельством об отношении Лунина к Польше в александровскую эпоху может служить его признание в письме к сестре Е.С. Уваровой от 9 июня <1838>: «С большим сожалением узнал я о смерти Новосильцова – одного из моих политических противников. Когда он был главою дел в Варшаве, я противостоял принятой им системе, от которой возникли такие скорбные результаты для королевства и империи»¹⁴⁸.

Итак, Лунин противостоял системе Н.Н. Новосильцева, т. е. русификаторской политике, нарушающей польскую конституцию, убежденным сторонником которой он остался и в Сибири и с точки зрения которой он оценивает польское восстание 1830–1831 гг. Разделяя поровну вину за кровопролитие между восставшими поляками и русским правительством, так как «во всякой революции виновность поровну падает надвое: на власть, которая причинила или не умела предупредить оную, и на подвластных, которые прибегли к этому средству, чтобы искать удовлетворения за угнетения, существенные или мнимые»¹⁴⁹, Лунин считает, что польская конституция давала такую возможность диалога между поляками и русским правительством, которой не было и не могло быть у Польши ни с какой другой страной. Венский конгресс показал, что только России участь Польши небезразлична: «Один император Александр вспомнил о ней. Желая загладить прежние несправедливости, доказать великодушие к побежденным и послужить столь выгодному ему делу свободы народов, он возымел мысль воскресить имя Польши и предложил восстановить государство на развалинах трех последовательных разделов»¹⁵⁰. При этом Лунин подчеркивает, что вина России в разделах Польши гораздо меньше, чем вина Австрии и Пруссии: «Проект первого раздела вышел из Венского кабинета, чем объясняется почти двойная доля, полученная им при разделе. Россия же только присоединилась к этому проекту, чтобы он не был осуществлен без нее, в ущерб как полякам, так и русским. Второй раздел был вызван прусским правительством с целью приобретения Данцига и Торна. В то время, как Россия была занята войной с Турцией, Пруссия сумела поднять новые волнения в Польше и поставить республику в положение страны, не выполняющей свои обязательства по отношению к соседям, обязав ее по союзному договору увеличить численность своей армии и изменить свою политическую организацию, в нарушение трактата 1775 года. Как только была обнародована конституция 91 года, Пруссия поспешила ее отвергнуть, расторгнуть свой союзный договор с республикой, завладеть Торном и Данцигом и заключить новый союз с русским правительством, чтобы прикрыть ограбление императорской мантией. Наконец, третий и последний раздел явился следствием восстания, которое, нарушая общественный договор, узаконят все по праву войны»¹⁵¹.

Этот небольшой исторический экскурс потребовался Лунину для того, чтобы напомнить европейским публицистам, атакующим Россию за подавление польского восстания, какую реальную роль Западная Европа играла в судьбах Польши, а заодно внушить полякам, «что их надежда на помощь западных государств остается призрачной; что единственная надежда на успех заключается для них в союзном договоре с русскими»¹⁵².

Польша, по мнению Лунина, не должна быть ни покорена Россией, ни отделена от нее. Русско-польский союз представляется декабристу чем-то наподобие отношений Англии с Шотландией и Ирландией. Царство Польское в том виде, в каком оно было создано на Венском конгрессе, без выхода к морю, без естественных укреплений границ, без собственной торговли, промышленности и т. д. не может существовать вне зависимости от России. Поэтому Александр I, давая Польше конституцию, сделал для нее больше того, на что могли рассчитывать поляки, явившиеся к царю в 1813 г. с просьбой спасти их от немецкого владычества.

Характерно, что Лунин, уделяя большое внимание тем преимуществам, которые получила Польша после Венского конгресса, не останавливается на вопросе о том, насколько это соответствовало интересам России. Отчасти это объясняется тем, что статья «Взгляд на польские дела» обращена к западному читателю. Но главное, конечно, в том, что Лунин видит

пользу России уже в самом факте справедливого решения польского вопроса. Конституция, дарованная Польше Россией, – большой шаг вперед для самой России. Полякам она давала возможность законного сопротивления незаконным действиям властей, а России – надежду на введение своей конституции.

Круг замкнулся. Лунин фактически вернулся к пониманию того, что решение польского вопроса, предложенное Александром I на Венском конгрессе и встретившее такое яростное сопротивление как европейских правительств, так и русских патриотов, было единственно правильным и отвечало интересам как поляков, так и русских. Первые получали конституционную свободу, вторые могли, опираясь на польскую конституцию как прецедент, добиваться обещанной свободы для себя. Все было испорчено бездарной политикой русских властей в Польше и нерешительностью Александра в преследовании поставленных им же целей.

Глава II

Английский миф и декабристы

Тема «Декабристы и Англия» неоднократно становилась предметом изучения¹, и настоящее исследование не ставит своей целью обращение к этой проблеме или даже просто суммирование накопленного материала. Нас будет интересовать французская политическая культура, являвшаяся посредником в восприятии декабристами английских идей. Но даже и в таком виде тема звучит гораздо шире того, о чем пойдет речь.

Для начала необходимо сделать небольшое пояснение. На протяжении XVIII – начала XIX в. во Франции формируется особый взгляд на английский политический строй. Идеологи французского Просвещения описывают в созданной ими системе государственно-правовых понятий формы английского правления. Давно было замечено, что первые грамматики какого-либо языка пишут, как правило, иностранцы. В этом смысле французские политические мыслители создавали «грамматику» английского государственного строя. Такое положение вещей отчасти объяснялось различием в исторических условиях Англии и Франции в XVIII в.

Современный исследователь А.В. Чудинов пишет: «Англия, пожинавшая плоды радикальных преобразований предыдущего столетия, с полным основанием могла гордиться уникальными для той поры конституционными актами, обеспечивающими гарантии основных гражданских прав, в том числе – на неприкосновенность личности и свободу слова. Франция же все еще находилась под властью абсолютного монарха. Вот почему если на Британских островах кипела бурная политическая жизнь – партии боролись за места в парламенте, избиратели выступали в поддержку своих депутатов, парламент принимал законы и менял министров, а каждый общественно важный вопрос широко обсуждался в печати; то по другую сторону Ла-Манша государственные дела решались узким слоем правящей элиты. Иначе говоря, англичане жили бурной общественной жизнью, французам же приходилось лишь с завистью наблюдать и обсуждать ее. Вот почему крупнейшие французские мыслители Века Просвещения так часто брались за описание государственного строя Великобритании и немало страниц посвятили выяснению его положительных и отрицательных черт»².

В итоге создавался некий английский миф. Свободная Англия изображалась как антипод двух политических систем: абсолютистской Франции и античных республик. Не будет большой натяжкой предположить, что этот миф влиял на декабристов гораздо больше, чем идеи, идущие непосредственно из Англии. О судьбах этого мифа в декабристских идеях пойдет речь в настоящей главе. Но прежде необходимо в общих чертах представить формирование и развития английского мифа во Франции XVIII – начала XIX в.

У его истоков стоят Монтескье и Вольтер. Автор «Духа законов» считал, что английское правление – «лучшее из правлений, которые люди могли только вообразить»³. В изложении Монтескье английский политический уклад соединяет в себе лучшие стороны различных видов правления: монархии, аристократии и демократии. Причину английского процветания он видит в том, что «английский народ лучше всех народов мира сумел воспользоваться тремя элементами, имеющими великое значение: религией, торговлей и свободой»⁴. Свобода Англии строится на ее законах, разделении властей и представительной форме правления. Исполнительная власть соединена «в руках монарха, так как эта сторона правления, почти всегда требующая действия быстрого, лучше выполняется одним, чем многими»⁵. Законодательная власть принадлежит всему народу и осуществляется через его представителей, которые разделены на два собрания. Одно состоит из «представителей народа», другое – из знати. Первое воплощает в жизнь демократический принцип, второе – аристократический.

Монтескье особо подчеркивает важность аристократии: «.. во всяком государстве всегда есть люди, отличающиеся преимуществами рождения, богатства или почестей; и если бы они были смешаны с народом, если бы они, как все прочие, имели только по одному голосу, то общая свобода стала бы для них внутренним рабством, и они отнюдь не были бы заинтересованы в том, чтобы защищать ее, так как большая часть решений была бы направлена против них. Поэтому доля их участия в законодательстве должна соответствовать прочим преимуществам, которые они имеют в государстве, а это может быть достигнуто в том случае, если они составят слабое собрание, которое будет иметь право отменять решения народа, как и народ имеет право отменять его решения»⁶.

Представительное правление, по Монтескье, это усовершенствованная форма демократии. «Большое преимущество избираемых представителей, – пишет автор «Духа законов», – состоит в том, что они способны обсуждать дела. Народ для этого совсем непригоден, что и составляет одну из слабейших сторон демократии»⁷.

Любопытно, что генезис английского правления Монтескье видит в политическом быте древних германцев: «Всякий, кто пожелает прочитать великолепное творение Тацита о нравах германцев, увидит, что свою идею политического правления англичане заимствовали у германцев»⁸. Трудно сказать, что конкретно автор имеет в виду, но можно предположить, что речь идет о зачатках разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также о соотношении «аристократического» и «демократического» элементов при выборе правителей древними германцами, в которых Монтескье разглядел отдаленное подобие английской системы.

Тацит описывает это следующим образом: «Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей – из наиболее доблестных. Но и цари не обладают у них безграничным и безраздельным могуществом, и вожди начальствуют над ними, скорее увлекая примером и вызывая их восхищение, если они решительны, если выдаются достоинствами, если сражаются всегда впереди, чем наделенные подлинной властью. Впрочем, ни карать смертью, ни налагать оковы, ни даже подвергать бичеванию не дозволено никому, кроме жрецов, да и они делают это как бы не в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по повелению бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся. <...>0 делах менее важных совещаются их старейшины, о более значительных – все; впрочем, старейшины заранее обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только народу. Если не происходит чего-либо случайного и внезапного, они собираются в определенные дни, или когда луна только что появилась, или в полнолуние, ибо считают эту пору наиболее благоприятствующей началу рассмотрения дел»⁹.

Условно говоря, «законодательная» власть принадлежит старейшинам и всему народу, «исполнительная» – царям и вождям, а «судебная» – жрецам. Причем все виды власти независимы друг от друга.

Между Монтескье и Тацитом можно провести еще одну параллель. В изображении Тацитом германцев доминирует римская точка зрения. Его германцы – это как бы римляне наоборот. Их явная идеализация в значительной степени объясняется критическим отношением к своему народу. Германцы лишены тех недостатков, которые есть у римлян. Они ближе к природе. В отличие от римлян, «эти люди от природы не хитрые и не коварные»¹⁰. Этим объясняется, в частности, тот факт, что «добрые нравы имеют там большую силу, чем хорошие законы где-либо в другом месте»¹¹, т. е. в Риме.

Для Монтескье, как и для Тацита, характерно противопоставление идеализации *чужого* мира критическому отношению к *своему*. Всякий раз, когда в «Духе законов» сравниваются Англия и Франция, либо явно, либо подспудно присутствует антитеза *свобода – несвобода*. И хотя Монтескье нигде не называет французское правление деспотическим, он все-таки намекает на возможность такой перспективы для своей страны: «Распределение и соединение трех

властей там осуществлено не по образцу того государственного устройства, о котором мы говорили выше (т. е. Англии. – В. П.). Каждая власть распределена там особым образом, который более или менее приближает ее к свободе, без чего монархия выродилась бы в деспотизм»¹². Само понятие «разделение властей» применительно к Франции звучит по меньшей мере невразумительно. Из всего этого пассажа можно понять только одно: отсутствие такого разделения приводит монархию к деспотизму, и читатель вправе самостоятельно сделать вывод о типе правления во Франции.

При всей идеализации Англии Монтескье не склонен смешивать теорию государственного строя с реальностью. «Не мое дело, – пишет он, – судить о том, пользуются ли в действительности англичане свободой или нет. Я довольствуюсь указанием, что они установили ее посредством своих законов, и не ищущего большего»¹³.

Почти одновременно с Монтескье писал об Англии Вольтер. Как и Монтескье, Вольтер смотрит на Англию глазами француза. Однако, если автор «Духа законов» исследует главным образом английское законодательство, то внимание Вольтера в его «Философских письмах» привлекает в первую очередь английское просвещение. Англия для него – родина Разума: «В нашем веке он родился в Англии»¹⁴. Религиозный плюрализм («Англичанин – человек свободный – отправляется на небо тем путем, какой он сам себе избирает»¹⁵), торговля и развитие естествознания и философии – это то, в чем, по мнению Вольтера, проявляется английская свобода, и то, чего лишена Франция.

Если антитеза *Англия – Франция* присутствует в «Философских письмах» в основном подспудно, то другая антитеза, *Англия – Рим*, получает детальное развитие. Единственным преимуществом Древнего Рима перед Англией, по мнению Вольтера, является то, что «Риму была совершенно неведома ужасающая нелепость религиозных войн <...>. Марий и Сулла, Помпей и Цезарь, Антоний и Август сражались вовсе не из-за спора о том, должны ли фламины носить свое облачение поверх тоги или под ней, а священные цыплята, для того чтобы предзнаменования были верны, есть и пить или же только есть». Однако «плодом гражданских войн в Риме было рабство, плодом английских смут – свобода»¹⁶.

В Англии равновесие властей достигается посредничеством короля и парламента между знатью и народом. В Риме Сенат, наоборот, всячески устранял плебеев от управления государством. Англия делает завоевания для того, «чтобы такого завоевания не совершили ее соседи». Рим проводил завоевательную политику для того, чтобы отвлечь народ от стремления участвовать в управлении государством.

В истории Англии не меньше, чем в истории других народов, кровавых страниц. «Идол деспотической власти был потоплен в морях крови, – пишет Вольтер, – однако англичане вовсе не считали, что они слишком дорого заплатили за достойное законодательство. Другие нации пережили не меньше смут и пролили не меньшее количество крови; но кровь эта, которую они проливали за дело свободы, только крепче цементировала их рабство»¹⁷.

Если Монтескье обходит молчанием Великую хартию вольностей, то Вольтер ее оценивает достаточно негативно и уж во всяком случае не склонен абсолютизировать. Он считает, что она родилась из «споров тиранов». Ее «непосредственной целью <...> было поставить королей в зависимость от лордов». Что же касается народа, то он получил лишь «некоторые поблажки». Общий вывод Вольтера об этом документе таков: «Эта великая Хартия, рассматриваемая как священный принцип английских свобод, сама позволяет понять, сколь мало тогда была знакома свобода. Одно только ее заглавие доказывает, что король приписывал себе абсолютные правомочия, а бароны и духовенство даже не пытались заставить его отречься от этого пресловутого “права”, поскольку высшее могущество принадлежало им»¹⁸.

Вольтера интересуют не юридические формы сами по себе, ареальное положение народа. Поэтому не Великая хартия, а то, как живут английские крестьяне, является для Вольтера кри-

териум общественной свободы. «Никто не чувствует себя угнетенным и обиженным, – пишет он. – Ноги крестьянина не стирают деревянные башмаки, он ест белый хлеб, хорошо одевается, не боится увеличить поголовье своего стада или покрыть свою крышу черепицей под угрозой повышения налогов в следующем году. Здесь много крестьян, владеющих состоянием, равным примерно двумстам тысячам франков, и при этом они вовсе не считают чем-то зазорным для себя продолжать обрабатывать землю, которая принесла им богатство и на которой они живут свободными людьми»¹⁹. На вольтеровском восприятии Англии сказалась его вера в прогресс человечества. Убежденность в том, что Англия опережает на этом пути другие народы, заставляла его сознательно или бессознательно закрывать глаза на многие недостатки. Англия для Вольтера – примерно то же самое, что дикари для Руссо. Она является неотъемлемой частью вольтеровского мифа об историческом прогрессе. При этом мифологизируется не весь английский текст как таковой, а лишь современный Вольтеру срез жизни английского общества, который соотносится с условным началом английской истории, как соотносятся между собой две крайние точки восхождения.

В «Опыте о нравах и духе наций» философ показывает постепенный характер развития английской цивилизации, сопровождающийся постепенным освобождением английского народа сначала от внешнего, а затем и от внутреннего порабощения. Историческое значение Великой хартии в его глазах столь незначительно прежде всего потому, что она принадлежит к нелюбимому Вольтером Средневековью. Хартия в его представлении не примирила Иоанна Безземельного с баронами, а, наоборот, усилила их раздоры. В результате Иоанн признал себя подданным Рима, а бароны предложили английскую корону французскому королю. Лишь с конца XIII в. при Эдуарде I Англия вступила на путь парламентского развития: «Звания баронов и пэров получали только те, кто входил в верхнюю палату. Палата общин начала распоряжаться субсидиями. Эдуард I придал вес палате общин для того, чтобы уравновесить власть баронов»²⁰. Однако народ в целом еще не созрел до такого уровня политической жизни. Все держалось исключительно на личности самого короля Эдуарда I, который в изображении Вольтера больше напоминает просвещенного монарха XVIII в., чем средневекового сюзерена.

Отличие от Монтескье для Вольтера главное – не законы, а цивилизация. Законодательство – всего лишь продукт цивилизации, а ее причиной и следствием является торговля. «Торговля, обогатившая английских горожан, – пишет Вольтер, – способствовала их освобождению, а свобода эта, в свою очередь, вызвала расширение торговли; отсюда и рост величия государства: именно торговля мало-помалу породила морские силы, с помощью которых англичане стали повелителями морей»²¹.

Еще одно важное следствие торговли и признак цивилизованности – это демократизация общества. Чувство гордости английского купца «заставляет его, не без некоторого основания, сравнивать себя с римским гражданином, поэтому младшие сыновья пэров королевства не пренебрегают коммерцией». Английский демократизм противопоставляется феодальной спеси остальной Европы и в первую очередь Франции: «Во Франции распоряжаются маркизы, и любой из них, прибыв в

Париж из глубокой провинции с шальными деньгами и титулом маркиза Ака или Иля, может говорить о себе: “Человек, подобный мне, человек моего положения” – и гордо презирать негоцианта; сам негоциант так часто слышит презрительные отзывы о своей профессии, что имеет глупость за нее краснеть. Однако я не знаю, какая из этих двух профессий полезнее государству – профессия ли напудренного вельможи, которому точно известно, в какое время встает ото сна король и когда он ложится, и который принимает величественный вид, играя роль прихлебателя в приемной министра, или же профессия негоцианта, обогащающего свою страну, раздающего из своего кабинета приказания Сюратту и Каиру и содействующего процветанию всего света»²².

Таким образом, Англия представляется Вольтеру страной наиболее естественного пути развития из всех стран мира, лишенной той знаковой мишуры, которой гордится аристократия феодальной Европы.

* * *

Мнение французских просветителей об Англии не было единым. Наиболее демократически настроенные мыслители, среди них такие, как Руссо и Мабли, достаточно негативно характеризовали английский политический строй. Мабли всю английскую историю сводит к борьбе вокруг Великой хартии вольностей: «В то время как преемники Иоанна Безземельного помышляли лишь о том, чтобы нарушить обе вынужденные у него необходимостью грамоты, народ, всегда беспокойный, не переставал жаловаться и с угрозами требовать возмещения причиненных ему несправедливостей»²³.

Эта борьба, не утихающая на протяжении всей истории Англии, по мнению Мабли, опровергает мысль Монтескье о равновесии властей. «Если равновесие различных властей, – спрашивает он, – установлено в справедливой соразмерности, то откуда эта постоянно возобновляющаяся тревога народа? Откуда вечные жалобы на правительство, которое беспрестанно обвиняют в измене долгу?»²⁴ В действительности, как считает Мабли, в руках английского короля сосредоточено слишком много власти и при этом на него наложена слишком малая ответственность. Поэтому англичане «пользуются одной лишь полусвободой»²⁵.

Если Монтескье и Вольтер выражают как бы французскую (внешнюю) точку зрения на Англию и за их идеализацией этой страны, как мы видели, скрывается недовольство Францией, то Мабли в своей критике английского политического строя пытается встать на точку зрения англичан и представить Англию как бы изнутри. «По свидетельству англичан, – пишет он, – знающих свое отечество и отнюдь не ослепленных тем, что обыкновенно зовется благополучием государства, величайшим врагом, какого только имеет ныне их гражданское устройство, является продажность, порожденная богатством, роскошью и корыстолюбием»²⁶. Уже из самой терминологии, характеризующей английские нравы, нетрудно по контрасту догадаться, что является идеалом для Мабли. Это, конечно, античные республики с их чистотой нравов и презрением к роскоши и богатству.

Свой общественно-политический идеал Мабли описал в «Рассуждениях о греческой истории», переведенных на русский язык А.Н. Радищевым в 1773 г.²⁷. Образцом общественных добродетелей для Мабли служат древняя Спарта и ее законодатель Ликург: «Более шести сот лет Ликурговы законы, превосходящие мудростью все данные законы человекам, были там наблюдаемы с наивящею точно стию. Который народ, будучи столь прилеплен к добродетелям, как спартане, давал примеры столь великие, столь непрерывные умеренности? Презрения богатств и любви вольности и отечества? Читая их историю, мы возпламеняемся; если в сердце своем имеем хотя малое зерно добродетели, то дух наш воздымается и хочет, кажется, исступит из тесных пределов, в коих нас удерживает повреждение нашего века»²⁸.

Природному равенству людей, как считает Мабли, должно соответствовать равенство социальное и материальное, но этого нет в Англии, где царствуют «алчность и честолюбие»²⁹. Античные добродетели требовали от человека полного самоотречения для того, чтобы стать полноценным гражданином. «Человек-гражданин, – писал Руссо, – это лишь дробная единица, зависящая от знаменателя, значение которой заключается в ее отношении к целому – к общественному организму. Хорошие общественные учреждения – это те, которые лучше всего умеют изменить природу человека, отнять у него абсолютное существование, чтобы дать ему

относительное, умеют перенести его *я* в общую единицу, так как каждый частный человек считает себя уже не единым, частью единицы и чувствует только в своем целом»³⁰.

Эти идеи оказали сильное воздействие на якобинцев³¹ и породили в их среде культ античных республик, в тона которых была окрашена якобинская диктатура. В противовес этому якобинско-античному мифу свободы либеральные политики и писатели создали английский миф. Но прежде чем перейти к его характеристике, следует остановиться на одном малоизвестном сейчас, но очень популярном в свое время в Европе предшественнике французских либералов, в произведениях которого уже были намечены все основные черты этого «мифа».

Речь пойдет о Жане-Луи Делольме. Его сочинение «Английская конституция» (1771) оказало сильное влияние на Н.И. Тургенева. «Я читаю теперь: De Lolme. Constitution d'Angleterre, – писал он брату С.И. Тургеневу 5 июля 1816 г. из Франкфурта. – Хорошая книга. За 50 лет, кажется, люди умнее писали нежели теперь»³². Чтение Делольма навело Тургенева на следующее размышления: «Политические писатели того времени, в которое жил и сей автор, либеральнее наших. По крайней мере тогда верно не восставали против них, как теперь. По каким странным и бедственным обстоятельствам многие находят теперь опасными, злыми, ложными правилами те правила, кои за 50 лет почитались единственно справедливыми и ведущими к щастию народов?»³³

Тургенев не просто читал Делольма, он его внимательно штудировал на протяжении 1816–1817 гг. и делал выписки. Особое внимание декабриста привлекали наиболее острые в политическом отношении места. Например: «La conséquence de cette institution est, que personne en Angleterre ne sauroit voir l'homme, dont il pût dire: “Cet homme peut décider de ma vie ou ma mort”. Si l'on pouvoit, pour un moment, oublier le bonheur d'une telle institution, on devoit au moins en admirer l'invention»³⁴.

Как и Делольм, Тургенев считает, что падение Римской империи вызвано не испорченностью нравов, а самой природой деспотического правления. «Это мнение Del[olm'a] подтверждает в некотором отношении замеченное мною, что нравы и т. и. не являются причиной падения государств. Так было, гов[орит] Del[olme], в бедном, но и в славном Риме».

Следующую мысль Делольма Тургенев передал по-русски: «Обыкновенно в государствах власть правительства почитается дотолу неограниченной, покуда не положено известных определительных пределов в оной. В Англии напротив: не власть правительства, но свобода подданного почитается неограниченной. L'onus probandi переходит здесь от подданного к правительству»³⁵. Это далеко не все выписки Тургенева из Делольма. Мы к ним еще вернемся. А теперь подробнее остановимся на основных идеях этой важной для Н.И. Тургенева книги.

Адвокат по профессии и публицист по призванию, Делольм родился в Швейцарии, но долго жил в Англии, он прекрасно владел английским языком и писал на нем многие свои произведения. Он досконально изучил систему английского государственного строя, а также английское законодательство. Однако, несмотря на хорошее знание Англии и не закрывая глаза на мрачные страницы ее истории, он дает мифологизированный образ английского политического устройства, видя в нем «самое прекрасное правление на земле и скорее всего единственное из всех до сих пор существовавших правлений, основанное на истинных принципах, соответствующих человеческой природе»³⁶. Английский миф Делольма строится на абсолютизации двух основных документов английской истории: Великой хартии вольностей (Magna Charta Libertatum), подписанной королем Иоанном Безземельным по требованию вставших на борьбу за свои феодальные права баронов в 1215 г., и закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом во время реставрации Стюартов в 1679 г. (Habeas Corpus Act).

Другой важной составляющей английского мифа является уже намеченное в трудах Монтескье и Вольтера противопоставление Англии и Франции как мира свободы и порядка и

мира, где деспотизм и анархия поочередно сменяют друг друга. По Делольму, эти различия обусловлены самим ходом исторического развития. Если во Франции феодализм складывался медленно и постепенно и различные части королевства, существуя сами по себе, были мало связаны друг с другом, что значительно ослабляло королевскую власть и усиливало позиции феодалов, то в Англию феодализм был перенесен насильственно и быстро в результате ее завоевания Вильгельмом Нормандским. Страна не была расчленена на части, и это способствовало установлению сильной королевской власти.

Здесь Делольму видится главное различие в исторических судьбах Англии и Франции. По его мнению, «это объясняет, почему из двух соседних народов, живущих в почти одинаковом климате и имеющих общее происхождение, один достиг вершины свободы, а другой был последовательно подчинен самой абсолютной монархии»³⁷.

Слабость королевской власти во Франции отнюдь не означала свободу. Напротив, она явилась источником страшного порабощения народа сеньорами, власть которых практически была ничем и никем не ограничена. Поэтому, когда королевская власть одержала верх над непокорными вассалами, народ спокойно отреагировал на установление абсолютизма, так как привык к отсутствию свободы. Таким образом, феодальная анархия со временем переросла в абсолютистский деспотизм.

В Англии ситуация складывалась иначе. Единство страны, деспотизм короля, основанный на праве завоевания, стали сдерживающими факторами для феодального произвола. Английские сеньоры были так же угнетены, как и народ. Но именно это и сделало их союзниками в борьбе за свободу. Всеобщее восстание против Иоанна Безземельного покончило с деспотизмом и привело к подписанию Великой хартии, которая стала отправной точкой английской свободы. Вся дальнейшая история Англии, в изложении Делольма, есть борьба за приверженность принципам Великой хартии. Поэтому все восстания и революции против правителей, нарушающих английскую конституцию, по сути своей консервативны. Они стремятся не к установлению нового строя, а к восстановлению нарушенного договора, заключенного 15 июня 1215 г. на Раннимедском лугу.

Этим английские революции отличаются от революций в других странах. «Если мы взглянем с некоторым вниманием на историю других свободных государств, – пишет Делольм, – то мы увидим, что распри, которые там совершались, всегда оканчивались соглашением, когда речь шла об интересах небольшого числа людей (*petit nombre*), в то время как интересы большинства не принимались во внимание. Совершенно противоположное происходило в Англии, где революции всегда предусматривали самые широкие меры предосторожности и проводились с тем расчетом, чтобы обеспечить всеобщую свободу»³⁸.

Мифологизируя английскую свободу, Делольм вместе с тем развенчивает миф о гражданских свободах и добродетелях античных республик. Через головы своих современников, идеализирующих античность, он обращается непосредственно к античным авторам, однако истолковывает их по-своему. Так, например, рассказав об изгнании царей из Рима в 509 г. до н. э. по Титу Ливию, Делольм пишет: «Сенаторы приписали себе немедленно власть царей, недовольство которой они так громко выражали. Исполнение декретов отныне было возложено на двух должностных лиц, принятых в Сенат и целиком от него зависящих, которых они назвали консулами и которые облеклись всеми внешними знаками царей». В примечании приводится цитата из Тита Ливия: «Все права и все знаки этой власти были удержаны первыми консулами, только позаботились об одном, чтобы не удвоился страх, если сразу оба будут иметь фаски»³⁹. И далее Делольм продолжает: «Их власть была еще ужаснее, чем предшествующая; смертные казни, на которые консул осудил в военном порядке тех, кто оставался приверженным к старым формам, и своих собственных сыновей, – все это показывало народу, что его ждет, если он когда-нибудь задумает противостоять власти тех, кто только что сам себя ею облек»⁴⁰.

Та же картина и в Древней Греции, и в средневековой Флоренции – «все революции всегда заканчиваются тем, что власть оказывается в руках *малого числа (petit nombre)*»⁴¹.

Развенчивая античный миф гражданской свободы, Делольм вступает в полемику с Монтескье, считающим, что «английская конституция утратит свою свободу, что она погибнет, как погибли Рим, Лакедемон и Карфаген; она погибнет тогда, когда законодательная власть окажется более испорченной, чем исполнительная»⁴². По мнению Делольма, нет ничего общего между Римом и Англией. «Римский народ в последние годы республики представлял собой не граждан, а завоевателей. Рим был не государством, а главой государства». Свобода и могущество были достоянием одних, а рабство и нищета выпадали на долю остальных. Завоевания сделали Рим лишь частью его же империи, и «он стал подданным самого себя». Это и предопределило и его падение, и порчу нравов, которая лишь ускорила это падение, но отнюдь не была его причиной⁴³.

Совершенно иначе, по мнению Делольма, дела обстояли в Англии. Там в результате революций в выигрыше оказывался весь народ, так как речь шла лишь о восстановлении порядка, гарантированного Великой хартией. «От одного конца острова до другого действовали одни и те же законы и преследовались одни и те же интересы: вся нация равно содействовала образованию правительства; следовательно, никакая часть этой нации не имела оснований опасаться, что другие найдут в себе силы для разрушения ее свободы»⁴⁴. Поэтому англичане не нуждались в тех суровых добродетелях, без которых невозможно существование республики. Наследственная монархия, действующая в строгих рамках всем известных законов, гарантировала англичан от установления абсолютизма, которым закончилась история Римской республики.

Доказательством этого служит история междоусобных войн и мятежей, которыми богата английская история. Сколь бы кровавый и затяжной характер они ни приобретали, в конечном итоге все вело к восстановлению конституции. «Мы видели, – пишет Делольм, – как она воскресла после войн между Генрихом III и его баронами, после узурпации власти Генрихом IV и после долгих и кровавых распрей между домами Йорков и Ланкастеров. Она была, казалось, окончательно разрушена после катастрофы Карла I, когда были брошены мощные силы на то, чтобы вместо нее ввести другую форму правления. Но едва Карл II вступил на престол, как конституция была восстановлена с сохранением старых принципов»⁴⁵.

Постоянное возвращение к истокам свободы придало английскому политическому устройству ту стабильность, которая выделяет его на фоне других политических систем. Противопоставляя Англию античным республикам, с одной стороны, и Франции с ее абсолютизмом – с другой, Делольм фактически объединяет республиканизм и абсолютизм по принципу безграничности власти. Разница лишь в том, что в монархии вся власть сосредоточена в одних руках, а в республиках она реально принадлежит *малому числу*.

Другой важной антитезой является противопоставление Англии и Швеции. После смерти Карла XII исполнительная власть в Швеции была поделена между королевой Ульрикой (сестрой Карла) и сенатом. «Единственная прерогатива нового короля заключалась в том, что он имел два голоса»⁴⁶ в сенате. Однако ограничение власти монарха не привело к ограничению исполнительной власти как таковой. Вся ее полнота перешла в руки сената, в котором слились исполнительная и законодательная ветви власти. В результате слабость королевской власти, разделение исполнительной власти и одновременно объединение исполнительной и законодательной властей лишь усилили позиции шведской аристократии, ничуть не увеличив свободу в обществе. В Англии вся исполнительная власть соединилась в особе монарха, а законодательная оказалась поделенной между палатой лордов и палатой общин. Это сделало исполнительную власть сильной и в то же время ограниченной⁴⁷.

Таким образом, Делольм противопоставляет английское правление античным республикам и французскому абсолютизму как законное незаконному и шведской монархии как сильную власть – слабой.

Делольм является убежденным сторонником сильной королевской власти. Он приветствует все те почти безграничные полномочия, которые английская конституция предоставляет монарху. Английский король является главой судебной власти, ему принадлежит право помилования. Он назначает на высшие государственные должности, производит в пэры. Он глава церкви, главнокомандующий сухопутными и морскими силами. Он полностью осуществляет внешнюю политику, единолично решает вопросы войны и мира. Его личность священна и неприкосновенна и т. д. Перечислив эти и ряд других привилегий короля, Делольм резонно замечает: «Итак, мы находим в нем все виды власти, которые когда-либо брали на себя самые абсолютные монархи»⁴⁸. И здесь он почти ни в чем не уступает французскому королю.

Но есть одно обстоятельство, которое меняет всю картину. Английский король не может по собственному произволу пользоваться государственной казной. Право субсидий принадлежит английскому парламенту. Таким образом, народ, избравший этот парламент, может контролировать деятельность короля. Делольм прекрасно понимает, насколько мощным и эффективным является этот экономический рычаг: «Сегодня, когда вследствие прогресса торговли и духа расчета все оценивается на деньги, сегодня, когда этот металл есть великий двигатель дел, можно утверждать, что тот, кто зависит от столь важной статьи, какой бы ни была его номинальная власть, находится в полной зависимости»⁴⁹.

Соединение столь больших полномочий, предоставленных английскому королю, с отсутствием у него собственных значительных доходов делает исполнительную власть мощным оружием в руках народа. Поэтому Делольм убежден, что исполнительная власть должна быть сильной и находиться в одних руках. Кроме того, она должна передаваться по наследству, чтобы не появлялось соблазна к ее узурпации. Все это делает королевскую власть в Англии эффективной и управляемой.

Законодательная же власть, наоборот, должна быть разделена и ослаблена. Объединение ее в одних руках отрицательно сказывается на качестве принимаемых законов. Законы должны приниматься в результате обсуждения и столкновения мнений. Наличие оппозиции является неотъемлемым условием принятия законов, соответствующих реальной ситуации. Если оппозиция в исполнительной ветви власти приводит к междоусобным войнам и насилию, то оппозиция в законодательной сфере направлена на благо, «это оппозиция принципов и намерений, она реализуется в нравственной сфере, единственная война, которая ведется, это война желаний и нежеланий, война голосов *за* или *против*, *да* или *нет*»⁵⁰.

Важным моментом английского государственного устройства является представительная система. Она противопоставляется Делольмом, с одной стороны, абсолютизму, где народ полностью устранен от государственного управления, а с другой – прямому народоправству античных республик, где «законодательные собрания становились полем битвы, а их власть подлинным бедствием»⁵¹. Народные собрания на площадях могли либо отвергать, либо принимать законы, но не могли обсуждать их по существу и не имели законодательной инициативы. В Англии же народ через своих представителей в парламенте может предлагать законы и всесторонне их обсуждать. Неучастие же всего народа в законотворчестве лишает его прямой власти, но вместе с тем делает более свободным. Английская конституция, пишет Делольм, «уменьшила власть народа, чтобы таким образом увеличить его свободу»⁵².

Здесь он расходится с Руссо, считавшим, что народ только тогда по-настоящему свободен, когда в его руках находится вся полнота власти. Осуждая представительную систему, Руссо скептически смотрел на свободу английского народа, и Делольм вступил с ним в прямую полемику. Приведя цитату из «Общественного договора»: «Английский народ считает

себя свободным: он жестоко ошибается. Он свободен только во время выборов членов Парламента: как только они избраны – он раб, он ничто. Судя по тому применению, которое он дает своей свободе в краткие мгновения обладания ею, он вполне заслуживает того, чтобы он ее лишился»⁵³, – Делольм обратил внимание на то, что понимание свободы у Руссо, которое соответствует и античному пониманию, в действительности означало лишь злоупотребление словом *свобода*. Этим, по его мнению, грешат «современные авторы, бездумно восхищающиеся древним правлением и соблазненные удовольствием противопоставлять современность и античность. Общественные институты Спарты и Рима они принимают за образцы. По их мнению, единственное дело граждан заключается в том, чтобы *постоянно собираться на площади*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.